

ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

УДК 141.3

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И ТЕКСТА В ФИЛОСОФИИ Р. БАРТА

А.Л. Айзенштадт
(Гомель, Беларусь)

Статья посвящена анализу интерпретации проблем языка и текста в философии Р. Барта. В 50-е гг. XX в. Барт исследовал мифологемы современной идеологии и предложил понятие «нулевая степень письма», в 60-е гг. изучал язык средств массовой коммуникации, а в 70-е сделал вывод о принципиальных различиях между текстом и произведением и констатировал «смерть автора».

Проблемы языка и текста являются объектом когнитивного интереса не только филологов и литературоведов, но и философов. Пример тому – творчество известного французского философа Ролана Барта. Обычно исследователи делят творчество Барта на три периода: доструктуралистский (50-е гг. XX в.), структуралистский (60-е гг.) и постструктуралистский (70-е гг.). И в каждом из этих периодов в фокусе внимания Барта были проблемы языка, текста, автора и социума.

В начале 50-х гг. Барт пришел к выводу о том, что возможно решение оппозиции между социальной и природной детерминацией субъекта в литературном творчестве. В своей первой работе «Нулевая степень письма» он развивает такое понимание термина «письмо», которое, с одной стороны, опирается на самотождественный национальный язык (здесь фактически растворены типы художественного, научного, религиозного и прочих «языков»), а с другой – на совершенно недифференцированную область индивидуального, личного писателя «стиля», понимаемого как биологическая детерминация фактически любого субъективного литературного действия.

Письмо, по существу – способ реализации индивидуального во всеобщем, причем, в таком виде, каждый творческий акт индивида воспринимается социумом как некое осмысленное усилие, доступный общественному пониманию продукт творчества. Барт пишет: «Язык и стиль – объекты; письмо – функция: оно есть способ связи между творением и обществом, это литературное слово, преобразованное благодаря своему социальному назначению, это форма, взятая со стороны ее человеческой интенции и потому связанная со всеми великими кризисами Истории, форма, которая превращается наконец во всеобъемлющий знак, в способ выбора определенного типа человеческого поведения, в способ утвердить известное Благо, тем самым вовлекая писателя в сферу, где он получает возможность уяснить и сообщить другим ощущение счастья или тревоги, где сама форма его речи – в ее языковой обыкновенности и стилистической неповторимости – вплетается наконец в необъятную Историю других людей» [1, 328].

В работах 1950-х гг., отталкиваясь от радикальных марксистских идей (и используя соответствующую терминологию), Барт выдвинул семиологический проект, суть которого в стремлении написать историю литературной политики правящих кругов, основываясь на

представлении об историчности отношения литературных производителей к средствам труда и его продуктам (например, к используемому языку или романной форме).

Одной из основных проблем, которую разрабатывал Барт, были отношения языка и власти. Язык, с одной стороны, является ключевым узлом для социализации, с другой, – обладая своей структурой, синтаксисом и грамматикой, несет в себе определенный властный посыл.

В этой связи интересным оказывается осмысление понятия «миф». Для Барта – это особая коммуникативная система, сообщение: философ определяет миф как совокупность коннотативных означаемых, образующих латентный (скрытый) идеологический уровень дискурса. Смысл и направление деятельности мифа оказывается двояким: с одной стороны, он направлен на изменение реальности, имеет целью создать такой образ действительности, который совпадал бы с ценностными ожиданиями носителей мифологического сознания; с другой – миф чрезвычайно озабочен сокрытием собственной идеологичности, то есть он стремится сделать так, чтобы его воспринимали как нечто естественное, само собой разумеющееся. Барт особо подчеркивает, что миф – это не пережиток архаического сознания, а огромная часть современной культуры. Миф сегодня реализует себя в рекламе, кино, телевидении и т. д.

В попытке упразднить историю буржуазия порождает миф как «деполитизированную речь». Однако язык, по Барту, не является простым орудием содержания, он активно это содержание производит. Везде, где с помощью речевой практики мир изменяют, а не сохраняют в виде образа, метаязык, которым является миф, становится невозможным. Таким образом, в 1950-е гг. Барт полагал, что существует язык, который мифическим не является, и отождествлял его с языком человека-производителя. Литература, использующая язык, который «производит» содержание, не может мыслить себя вне власти, вести независимую от политического измерения жизнь. Максима политической семиологии – любая деполитизация мира осуществляется в политических целях, не существует «незаинтересованного наблюдателя» власти [2].

Основная тематика философского творчества Р. Барта в структуралистский период – принципы и методы обоснования знания. Проблема языка при этом фактически вытесняет проблему сознания в том виде, в котором сознание как далее неразложимый атом, на каком стро-

ится любое обоснование знания, присутствует в философской традиции. По этим представлениям языковая деятельность предшествует любым актам познания, фиксации любых субъект-объектных оппозиций. Таким образом, язык становится условием познания феноменов «сознания», «бытия» и других предельных категорий.

Фундаментальная для структурализма тема обоснования знания разрабатывается Бартом на материале культурно-исторического содержания. Подвергая анализу конкретные исторические «срезы» этого материала (литературное творчество, а также системы моды, этикета, различные социальные структуры), он пытается выявить общие механизмы порождения и функционирования этих систем, причем в таком виде, чтобы все эти явления культуры выглядели связанными друг с другом через их истонную знаковую природу.

В 60-е гг. Барт пытается дифференцировать свою теорию письма в терминах разного рода отношений между знаками. Такими отношениями выступают в «Критических очерках» синтагматические, парадигматические и символические отношения. И если символическое отношение между означаемым и означающим в достаточной мере было исследовано в семиотике, то синтагматическое знакоотношение, трактуемое как специфическая ассоциация между знаками сообщения на уровне означающего, а также парадигматическое знакоотношение, как ассоциация между элементами на уровне означаемого, объединяющая знаки, родственные по смыслу, возникают в этой области знания как совершенно новые методы анализа самых разных культурных явлений. Более того, Барт закрепляет за каждым из этих трех типов знаковых отношений различные виды художественного сознания, и как реализацию этих типов – различные виды художественных произведений [3].

В середине 60-х гг. Барт оставляет, в какой-то мере, литературоведческие исследования, чтобы обратиться к социальной проблематике – анализу массовых коммуникаций. Его интересует кинематика отдельной культуры – «социо-логика», конкретно-историческая система духовного производства. «Социо-логика» должна способствовать изучению тех моделей культурного творчества, которые лежали бы в основе не только литературы или дизайна, но и детерминировали бы общественные отношения конкретного социума, а значит были бы принципами всевозможных самоописаний и самоидентификаций этой культуры, другими словами, были бы смысло-образовательными возможностями культуры.

Интерес к нелитературным источникам анализа привел Барта к исследованию структурных особенностей женской одежды в журналах мод. Основной пафос работы «Система моды» состоит в выявлении взаимной конверсии различных типов творчества и производства: языка фотографии, языка описания, языка реалити, языка технологий производства. Барт пытается найти специфическую область общения этих языков, выясняя возможности перехода элементов одних языков в другие. Благодаря этой методологической перспективе ему удается обнаружить неравнозначные зависимости между языками выделенных типов, а также ментальную конструкцию, лежащую в основе «семиологического парадокса» – следствия этой неравнозначности.

Суть этого парадокса состоит в том, что общество постоянно переводит элементы «реального языка» – по сути своей, «вещи» в элементы речи, или знаки, пытается придать элементам означения «рациональную» при-

роду. Таким образом возникает парадоксальная ситуация превращения «вещей» в смысл и наоборот. Поиск разнообразных смыслопорождающих механизмов того или иного культурного периода приводит Барта к признанию рядоположенности любой теоретической и практической деятельности, от эстетической до инженерно-технической или политической.

Эпицентром исследовательских интересов Барта выступает, однако, не сама система знаков и денотативных значений, а возникающее в процессе коммуникации поле «коннотативных» значений, которые и позволяют тому или иному обществу дистанцироваться в культурно-историческом плане от иных обществ, с их особыми коннотативными содержаниями.

Поставив проблему «семиологического парадокса», Барт утверждает, что в массовом сознании происходит фетишизация языка, а само сознание становится пристанищем разнообразных мифов, коренящихся в наделении языковых конструкций силой описываемых ими вещей и явлений. С другой стороны, вещи и явления сами начинают претендовать на «рациональность» и наделенность смыслом (феномен товарного фетишизма) [4].

В постструктуралистский период лейтмотивом исследований Барта выступает текст, принципиально отличающийся от традиционного произведения. Барт пишет: «Текст в том современном, актуальном смысле, который мы пытаемся придать этому слову, принципиально отличается от литературного произведения: это не эстетический продукт, это означивающая практика; это не структура, это структурация; это не объект, это работа и деятельность; это не совокупность обособленных знаков, наделенная тем или иным смыслом, подлежащим обнаружению, это диапазон существования смещающихся следов; инстанцией Текста является не значение, но означающее в семиологическом и психоаналитическом употреблении этого термина» [5, с. 13].

«Произведение» представляется Барту устаревшим, ньютоновским понятием, тогда как «текст» – современным, эйнштейновским. Первое предстает как нечто готовое и законченное, обычно отождествляемое с книгой, которую можно взять в руки. Текст лишен эмпирической реальности, он относится к порядку теории, играет, скорее, методологическую роль. Произведение находится в рамках литературной традиции и культуры, подчинено общему мнению. «Текст всегда является парадоксальным». Он нарушает все традиции, не укладывается ни в какие жанровые рамки, не признает никакие иерархии и классификации.

Произведение существует как общий знак, оно замыкается на означаемое, в нем мало символического, оно легко становится предметом изучения или интерпретации. Текст уходит от означаемого и устремляется в «поле означающего», он является «радикально символическим». Подобно языку, он представляет собой открытую систему, у которой нет центра и границ. Однако у текста не может быть грамматики, о нем не может быть науки. Для произведения характерна линейность и необратимость построения, хронологическая или иная последовательность развития. Текст не имеет какого-либо начала, центра и направленности и предстает как «стереофоническая» и «стереографическая» множественность означающих». Он одновременно уникален и множественен, его уникальность является множественной.

Метафорой произведения может быть живой организм, метафорой текста – сетка, ткань или паутина: он не растет и не развивается, а простирается благодаря

комбинаторике и систематике. У произведения есть автор, который считается его отцом и собственником. Текст для своего существования не нуждается в каких-либо авторских или отеческих гарантиях. В этой связи Барт провозглашает знаменитый тезис о «смерти автора». Произведение превращается в гипертекст [6].

Произведение обычно легко читается, что равносильно его потреблению. Текст является «нечитабельным». Подобно сочинениям постсерийной музыки, он выступает как партитура, исполнение которой с необходимостью делает читателя соавтором. Текст, согласно его концепции, есть род удовольствия, а чтение – нечто вроде прогулки или даже сексуального удовлетворения (при этом он разделяет «текст-наслаждение» и «текст-удовольствие»). Восприятие текста определяется уровнем читателя и его подготовленностью к прочтению и интерпретации основных пяти кодов, сплетенных в ткани текста, – кода Эмпирии, кода Личности, кода Знания, кода Истины и кода Символа.

Пересмотр идеальных представлений о тексте повлек за собой у Барта и новый метод анализа текстов реальных. Если в 50-е – нач. 60-х гг. философ стремился вычленять в тексте устойчивые и упорядоченные по уровням структуры, то начиная с книги «S/Z», посвященной подробному анализу текста одной новеллы Бальзака, он отказывается от строго объективного подхода, принимает произвольное членение текста на фрагменты – лексии и при их анализе исходит из нагру-

женности каждой из них одновременно многими, лишь отчасти упорядоченными смыслами и кодами.

Поздние книги Барта имеют целью раскрыть продуктивный, неупорядоченный характер «письма» (в новом смысле этого термина), будь то плюралистичность современного «текста» или же металингвистическая деятельность таких создателей новых идеологических кодов, как маркиз де Сад (код жестокости), Шарль Фурье (код удовольствия и его социально справедливого распределения) или Игнатий Лойола (код рационализированного мистицизма) [7].

Барт рассматривает «текст» и как универсальную категорию, охватывающую не только литературу, но и другие явления. Текстом тогда оказывается город, культура, страна. В этом плане Япония оказалась для Барта как раз тем «текстом», где доминирует интересующая его «галактика означающих», где смысл либо вообще отсутствует, либо возникает как легкий эпифеномен тонкого соотношения означающего и означаемого, а чаще – как следствие игры одних означающих. Барт находит такой смысл в самых разных явлениях японской жизни и культуры. Наиболее сильное впечатление произвел на него традиционный и распространенный жанр японской поэзии – хокку, – в котором он увидел полное воплощение своих представлений о письме, тексте, знаке, смысле и литературе [8].

Проведенный в статье анализ позволяет сделать вывод о новаторском и в то же время конструктивном характере исследования Р. Бартом проблем языка и текста.

Литература

1. Барт, Р. Нулевая степень письма / Р. Барт // Семиотика. – Москва, 2008. – С. 306–349.
2. Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. – 3-е изд.: Москва: Академический проект, 2010. – 312 с.
3. Барт, Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / Р. Барт // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: трактаты, статьи, эссе. – Москва, 1987. – С. 387–422.
4. Барт, Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт. – Москва: Издательство им. Сабашниковых, 2003. – 512 с.
5. Барт, Р. S / Z: Бальзаковский текст: опыт прочтения / Р. Барт. – 3-е изд.: Москва: Академический проект, 2009. – 232 с.
6. Барт, Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – Москва, 1989. – С. 384–391.
7. Барт, Р. Сад, Фурье, Лойола / Р. Барт. – Москва: Праксис, 2006. – 256 с.
8. Барт, Р. Империя знаков: сборник заметок по итогам путешествия по Японии / Р. Барт. – Москва: Праксис, 2004. – 143 с.

УДК 81-22

ПУРИЗМ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ГЛОБАЛИЗУЮЩЕМСЯ МИРЕ

А.М. Амагов, Г.В. Свищёв
(Белгород, Россия)

Языковое регулирование – это постоянный, непрерывный процесс, реагирующий на происходящие в языке изменения. Научно-технический прогресс и политические события XX века привели к тому, что англицизмы проникают во многие сферы общественной жизни и как следствие в тот или иной язык. В статье рассматриваются некоторые проблемы языкового регулирования с учетом социальных, экономических и политических факторов, что являются неотъемлемой частью государственной политики.

Проблема «чистоты» родного языка, его избавления от иноязычных заимствований не нова и является актуальной в современных условиях глобализации, когда англицизмы проникают во многие языки.

Ещё в начале XIX предпринимались попытки сохранить исконные литературные традиции русского языка XVIII в. от нововведений и модных тенденций. Так, А.С. Шишков (1754–1841), выдающийся государственный деятель России, вице-адмирал и литератор, министр народного просвещения и глава цензурного ведомства, опубликовал в 1803 году самое знаменитое своё произведение «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка». Некоторые идеи в защиту родного языка от ненужных заимствований воспринимались современ-

никами как возврат к устарелым формам и не более. В современных учебниках А.С. Шишков фигурирует как автор не очень удачных попыток найти русские аналогии заимствованным словам типа «галоши» – «мокроступы», «анатомия» – «трупоразъятие», «геометрия» – «землемерие» [1].

В наши дни, например, спортивные термины, проникающие в тексты, предназначенные для массового читателя, зачастую пестрят лексикой несуществующей в русском языке, что зачастую препятствует адекватному восприятию информации. В статьях о боксе появляются *крузеры* (тяжеловесы, буквально – боксеры крейсерского веса), *проспекты* (перспективные боксеры), *челленджеры* и *контендеры* (претенденты на титул чем-

пиона), *панчеры* (Владимир Кличко – не панчер). Обращаясь к футбольной терминологии, следует упомянуть недавно употреблявшиеся заимствования *бек*, *хавбек*, *голкипер*, *корнер*, из которых в настоящее время употребительным остался *форвард*.

Естественно, что эти жаргонизмы вполне уместны на Интернет-форумах любителей бокса или футбола, но употребление как можно большего количества незнакомых слов без каких-либо комментариев должно, вероятно, свидетельствовать о профессионализме (или особой посвященности) автора, и в этом есть особый профессиональный шик [2].

В настоящее время депутаты от ЛДПР выступили с законодательной инициативой о запрете иностранных слов, за употребление которых предлагается штрафовать. Возможно, скоро у нас будет не футбол, а ногомяч; нас будут не штрафовать, а бить рублем (Россия-24, эфир 24 июля 2014 г.).

Тем не менее, хотя английский язык обычно обвиняют в такого рода «вторжениях» в другие языки (прежде всего в их словарь), примерно до XIX века ситуация была скорее обратной. Дело в том, что в процессе экономического и политического развития языки могут меняться ролями, «доноры» – становиться «реципиентами» и наоборот. В частности, английский язык лишь в XX веке начал своё беспрецедентное распространение в мире. На протяжении нескольких столетий до этого английский язык был скорее «импортёром», нежели «экспортёром» лексики. Это наглядно демонстрирует тот факт, что только 25 % лексики современного английского языка имеют германское происхождение, причём не обязательно англосаксонское (сюда также входят слова немецкого, нидерландского, норвежского, датского происхождения). Для сравнения, латынь и французский язык как источники дают более 28 % современного английского словаря каждый [3].

Поскольку подавляющее большинство заимствований пришло в среднеанглийский язык, идея о том, что исконные слова англосаксонского происхождения должны иметь приоритет в употреблении перед иностранными (в основном романскими, латинскими и греческими) высказывалась уже в ранненовоанглийский период. Так, Джон Чик, известный английский учёный, государственный деятель и писатель, сообщал в своём письме Томасу Хоби в 1561 году: «Я придерживаюсь того мнения, что писать в нашем родном языке надлежит чисто, без примесей и заимствований из других языков, ибо если мы всё время будем брать и не будем отдавать, язык наш станет банкротом» [4].

В XIX столетии ряд английских лингвистов и писателей выступили с попыткой «очистить» язык от иностранных наслоений. Наибольшую известность в этой связи приобрёл Уильям Барнс, разработавший и применивший для этого ряд методов, в частности, возвращение устаревших слов взамен заимствований, кальки с заимствованных слов при помощи английских морфем и создание новых слов с использованием английских корней и аффиксов. Словом, Барнс действовал примерно теми же методами, что и упоминавшийся выше А.С. Шишков.

С тех пор сторонники «чистоты» английского языка (впрочем, довольно немногочисленные) развили методы Барнса, реконструировав значительную часть вокабуляра и даже несколько изменив грамматику (преимущественно морфологию). В частности, одной из последних крупных работ в этом направлении можно назвать книгу

Дэвида Коули «Как бы мы говорили, если бы англичане победили в 1066 году?» [5].

Тем не менее, хотя подобные попытки воссоздания «чистого» английского языка нередко представляют весьма любопытные решения нетривиальных лингвистических задач, в целом они не представляют сколько-нибудь заметного интереса с точки зрения языковой политики англоговорящих стран. Люди, которые посвящают себя подобной работе, обычно действуют из чисто научного (а иногда и паранаучного) интереса либо же просто тоскуют по «красоте подлинно английского языка».

Иначе складывается ситуация вокруг французского языка, где к решению проблем языкового протекционизма подключены весьма влиятельные политические силы. Ситуация интересна ещё и в том аспекте, что современный французский язык в значительной степени «получает сдачу» теми самыми словами, которые он в своё время щедро раздавал в другие языки, прежде всего в английский.

Вообще вопрос о чистоте французского языка был поставлен примерно в конце XVII в. (пример – известный писатель Ш. Перро). Общеизвестно, что общий язык связывает нацию воедино. В далекие времена Франция была разделена на области, в каждой из которых говорили на своем языке – бретонском, лангедокском, фламандском. Это представляло серьезную угрозу единству Франции, поэтому во французских школах наказывали учеников, если они говорили не по-французски, а на своем местном наречии, говоре (*patois*). В итоге такая ситуация привела к тому, что Французская Академия стала на стражу чистоты французского языка, решая, приемлемо ли то или иное слово. В XX веке велась неустанная работа в этом направлении. Вышло несколько декретов и постановлений касательно применения французского языка, а 31 декабря 1975 года был принят закон о языке (*Loi # 75-1349 relative à l'emploi de la langue française*), который в новой расширенной редакции вышел 4 августа 1994 г. Одним из приоритетов французской языковой политики является обогащение и обновление французского языка, что объясняет наличие целого ряда текстов французского масс-медийного пространства, посвященных ключевому вопросу политики в области языкового регулирования [6].

Научно-технический прогресс XX века привел к тому, что англицизмы проникли во многие сферы общественной жизни Франции. Как следствие Французская Академия публикует официальные рекомендации для замены того или иного английского термина. Например, в сфере Интернет-технологий появились эквиваленты для электронной почты *e-mail – courriel* (от *courrier électronique*), для именованного хакера *hacker – fouineur* (от глагола *fouiner* ‘всюду совать свой нос; лезть не в свои дела’). Следует отметить, что некоторые из рекомендованных неологизмов ещё не фигурируют в словарях. Так, существительное *fouineur* имеет значение ‘любитель [любительница] ходить по барачкам, магазинам случайных вещей’.

Начиная с 1970-х годов правительство Франции законодательно закрепляет термины, которые следует употреблять, избегая иностранных. Так, термин *logiciel* ‘программное обеспечение’, предложенный Комиссией по информатике, полностью вытеснил менее чем за десять лет английский *software*. А сам термин *informatique*, неологизм, созданный в 1962 году Филиппом Дрейфюсом из слов *information* ‘информация’ и *automatique* ‘автоматика’, не имеет точного эквивалента в английском языке.

ке. Наиболее близкие концепты – *information technology*, *computer science* или *data processing*.

К работе по искоренению англицизмов привлекается и широкая общественность. Так, Государственный секретариат по франкофонии объявил 15 января 2010 года конкурс на лучший инновационный перевод английских слов *buzz*, *chat*, *newsletter*, *talk*, *tuning*, прочно закрепившихся во французском языке. Такая же ситуация складывается в Квебеке, где для английских терминов уже были найдены французские эквиваленты: *chat* – *clavardage* (от *clavier* ‘клавиатура’ и *bavardage* ‘болтовня’), *newsletter* – *lettre d’information*, *talk (show)* – *interview-variétés*. Некоторые технические термины были переведены следующим образом: *podcast* – *baladodiffusion*, *scanner* – *numériseur*.

В результате жюри конкурса выбрало варианты, наиболее полно отражающие понятия, представленные английскими терминами. Для слова *chat* предложены существительные *tchatche* и *éblabla*. Очевидно, что *tchatche* напоминает английский термин *chat*, но он представлен во французском написании. Второй вариант *éblabla* содержит в своем составе начальный звук [e], говорящий об электронном общении *électronique* и французское существительное *blabla* ‘болтовня’. Эти варианты членам жюри показались более адекватными в отличие от существительного *dialogue* ‘диалог’, предложенного Комиссией по терминологии.

Для существительного *newsletter* ‘информационный бюллетень’ был выбран вариант *infolettre* в отличие от канадского варианта *lettre d’information*. Стоящий отдельно от новых технологий термин *talk* представлен французским существительным *débat* ‘обсуждение; дискуссия; спор’. Комиссия по терминологии предлагает заменить английский термин сложным существительным *émission-débat* (от французских существительных *émission* ‘радио- или телепередача’ и *débat* ‘обсуждение’).

Что касается такого понятия, как тюнинг – *tuning* ‘доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей’ был предложен вариант *personnalisation* ‘персонализация; индивидуализация; направленность на каждого отдельного человека’, который не в полной мере отражает суть понятия. В результате жюри остановилось на варианте *bolidage*, что представляется вполне логичным, хотя это существительное и не зарегистрировано в словаре. Оно образовано от спортивного термина *bolide* ‘скоростная, гоночная машина’ и суффикса *-age*, передающего некий процесс или действие, совершаемое над автомобилем.

Перевод понятия *buzz* ‘шум, гул; сплетни’ представлен вариантами *bourdonnement* и *ramdam*, из которых послед-

ний оказался предпочтительней. Он образован от названия месяца рамадан, с которым связаны шумные ночные трапезы во время мусульманского поста. Какое из этих слов укоренится во французском языке, зависит от развития демографической ситуации во Франции. Принимая во внимание растущую долю мусульманского населения страны, этот вариант имеет все шансы войти в словарь французского языка. Эта тенденция касается и других аспектов общественно-политической жизни Франции. Так, Объединение за права чернокожего населения Франции (Conseil Représentatif des Associations Noires) заявил, что победившая в конкурсе красоты Мисс Франция 2013 Марин Лорфелен ‘бела как снег’, что в свою очередь не отображает реальной этнической ситуации в стране.

Языковое регулирование во Франции – это постоянный, непрерывный процесс, реагирующий на происходящие в языке изменения. Так, в связи с началом широкого распространения Интернет-технологий Комиссия по терминологии 16 марта 1998 года опубликовала официальный список французских терминов, которые должны соответствовать английским. Например, *World Wide Web* – *toile d’araignée mondiale*, *toile mondiale*, *toile n. f. sg.*, *T.A.M.*, *site (de la toile, sur la toile)* – *website*, *web site*, *browser* – *logiciel de navigation*, *navigateur*. Влияние английского языка зачастую вызвано в этой сфере влиянием «ложных друзей» переводчика. Так, в информатике английское *library* ‘библиотека’ переведено на французский как *librairie* ‘книжный магазин’ вместо *bibliothèque*. При полном графическом совпадении английского и французского *agenda* происходит неправильное его употребление в контексте, поскольку в английском это ‘программа (работы), план (мероприятий); повестка дня’, тогда как во французском – ‘записная книжка’, например: *L’examen et l’approbation du budget proposé sont inscrits à l’agenda de la réunion mensuelle*.

Таким образом, бурное развитие международных отношений, межязыковые контакты, внедрение технологических новинок, например, SMS, ICQ, Facebook, ведут к обособленному появлению в том или ином языке лексики, отражающей эти реалии. В процессе их функционирования происходит ассимиляция данных терминов, но иногда исчезает само явление и вместе с ним и лексическая единица как, например, пейджер. Тем не менее вопросы языкового регулирования являются неотъемлемой частью государственной политики в области языка с учетом социальных, экономических и политических факторов.

Литература

1. Аксенова, Г.В. А.С. Шишков и проблемы культуры русской речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.portal-slovo.ru/history/35320.php.
2. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lib.rus.ec/b/157850/read.
3. Finkenstaedt, T., D. Wolff Ordered profusion; studies in dictionaries and the English lexicon. – Heidelberg: C. Winter, 1973.
4. Langer, N., Winifred V. Davies. Linguistic purism in the Germanic languages. – Dordrecht: Walter de Gruyter, 2005.
5. Cowley, D. How we’d talk if the English had won in 1066. – London: Bright Pen Books, 2009.
6. Гулинов Д.Ю. Языковая политика в аспекте масс-медийного дискурса (на материале французского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – No 9 (27): в 2-х ч. Ч. I. – С. 48–51.

О ПОЛЬЗЕ «ОБЩИХ МЕСТ» В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ, или КОНКРЕТНОСТЬ ФИЛОСОФИИ ЛИТЕРАТУРЫ

А.Н. Андреев
(Минск, Беларусь)

Сегодня теоретическое литературоведение в плане методологии представляет собой типологически ориентированную дисциплину, которая не соответствует критериям гуманитарной науки.

Автор настаивает, что по своим гносеологическим возможностям и культурному статусу научное литературоведение, будучи философско-антропологической дисциплиной, призвано заниматься выявлением универсалий, определяющих в том числе и специфику литературы как формы общественного и персонального сознания.

Сегодня у теоретического литературоведения – типологическое лицо. Нечто конкретное сравнивается (а то и сопоставляется) с таким же конкретным, и получается конкретный результат: ничего определенного. Причем закономерность, которую в упор не хочется замечать, такова: чем более конкретики – тем менее научного в результатах.

Разумеется, нужны конкретные примеры. Пожалуйста.

Что такое жанр?

Что такое вполне конкретные роман, рассказ, романс – четкого теоретического определения пока нет.

Существует целый том словаря по фантастике, в котором определение фантастики отсутствует.

Попробуйте дать однозначные определения ритма, поэзии.

Или, на худой конец, дайте определение художественной литературы, которая существует в бесконечных, вполне конкретных, однако, текстах. Этого пока не удастся сделать.

Конкретное никак не трансформируется, не *переходит* в общее.

Назрел вопрос: почему?

Потому что рассматриваются конкретные категории и понятия не в контексте общего, а сами по себе. В какой системе координат вы даете определение? Вот вопрос вопросов. Невозможно на основании частных примеров сложить общую картину, как нельзя из ста зайцев сложить лошадь. Надо идти не только от частного к общему, но и от общего к частному.

Тем не менее наука парадоксально настаивает на типологии и классификации в одном, частном, направлении. В чем тут дело?

Помимо методологии сегодняшнему литературоведению явно не хватает откровенности. (Сразу же оговоримся: откровенность – это отнюдь не искренность субъективного порядка, которая вносит только путаницу и хаос; к научной откровенности как категории «объективного» надо быть методологически и психологически подготовленным; научная откровенность предполагает саму возможность услышать и принять новое, которое принципиально меняет старую картину мира.)

Нынешнее литературоведение, погнавшись за частностями, принялось изучать не сущность литературы, а отбрасываемые ею «тени», – всячески культивируя, например, социально-психологическую проекцию литературы (при этом литературы, как правило, также морально-социально-психологически ориентированной; здесь связка «спрос – предложение» не дает сбоев, подозрительно напоминая экономической механизм). Вот, скажем, изучение национальной классики приветствуется со всех конкретных сторон;

при этом обращается внимание на конкретные проявления свойств народа. Конкретный исследователь, изучая конкретное произведение, фиксирует конкретное качество, например, толерантность или мудрость народа. Чем больше качеств, тем многограннее народ. Народ выступает в качестве «общего», а каждый национальный классик – это конкретика.

И всем хорошо: и классику, и ученому, и народу. Только науке почему-то плохо. Почему?

Потому что на самом деле научное литературоведение – это подраздел философии, это философская антропология литературы – то есть гуманитарная наука, занимающаяся выявлением *универсалий*, определяющих в том числе и специфику литературы как формы общественного и персонального сознания. Философия литературы начинается с методологии – с диалектики, с характеристик системы, целостности, высших культурных ценностей, художественности, психики, сознания, личности (то есть с того «общего», что на первый взгляд не имеет непосредственного отношения к литературе и из литературы «не вытекает»), а «конкретная теория литературы, конкретно адаптированная под конкретные нужды социума» – с социально-психологических проекций текста (что является способом устранения методологического зуда). Некое «непосредственное» изучение текста – всегда психологическое освоение информации, где «прочитать» означает эмоционально откликнуться. Вот почему филологическая специализация «литературовед» подразумевает социально-психологический (но не методологический!) «вед». Интеллект подменил ум, типология и классификация – методологию, а литература по поводу литературы, конкретно раздавшаяся вширь, заслонила собой научный стержень литературоведения.

Литературой как проекцией духовного, экзистенциального уровня (информацией, пропущенной сквозь сознание личности) пока никто не занимается, ученые-литературоведы попросту не замечают такого объекта исследования.

Иными словами, собственно литература как многомерный, методологически «отформатированный» объект и предмет исследования в нынешнем литературоведении не представлена. Наука есть, а научно обоснованного объекта и предмета исследования – нет. Общего в науке нет, есть только частное. Это лучше всего демонстрирует «научный» уровень гуманитарных дисциплин.

Теория литературы, наиболее научный подраздел литературоведения (во всяком случае, отвечающий за научный уровень дисциплины), обслуживает именно социально-психологические функции феномена под названием «художественная литература как явление

культуры». Духовно-экзистенциальные функции, потенциально содержащиеся в себе социально-психологические «проекции», требуют философско-антропологической рефлексии. Обществу же сегодня не нужна философия литературы с ее методологическими приоритетами, не нужна литература, ориентированная на личность, не нужна личность с ее специфической духовной ментальностью, не нужна культура. Обществу нужны конкретные люди дела, которые бы утверждали (пусть за скромную, но твердую плату, которую хочется назвать мздой), что обществу нужно то, что ему не нужно. Некультурное общество хочет иметь культурный имидж. Люди говорят, а общество не меняется. И волки, и овцы, и все такое прочее. Лепота, одним словом.

Отсюда следует: суть профессии современного теоретика литературы – в значительной степени игра. Теоретики играют – в смысле подыгрывают потребностям тех, кто хочет «заниматься» «литературой», но ничего в этом не смыслит, улавливая, однако, что общество в свою очередь хочет слышать именно их «компетентные» суждения.

Можно играть и в другую игру: преподавать вместо теории философию литературы, антропологическое литературоведение, понимая, что этого все равно никто не заметит. В угоду обветшавшей теории литературы можно делать вид, что никакой философии литературы не существует, преподавая при этом именно философию литературы. И перед собой честен, и перед наукой. Общественному сознанию, вопреки ожиданиям, нравится такая путаница и неразбериха, ибо чем меньше порядка в гуманитарных науках, тем более развязаны руки у тех, кто в науке ничего не смыслит.

А все потому, что точка отсчета в гуманитарных науках сегодня, которые верой и правдой служат идеологии потребления, – не личность (человек разумный и познающий), а индивид (человек, приспособившийся с помощью психики).

С этого, собственно, и начинается философия литературы; а продолжается она четко структурированными объектом и предметом исследования, что приводит к скромной, но все же революции: мы имеем по-новому структурированную художественность. Старый, добрый, но безнадежно обветшавший аристотелевский *содержательно-формальный* подход, под гегелевским углом зрения сильно гальванизированный марксистским литературоведением, не то чтобы ушел в прошлое (он никуда не уйдет и вечное ему спасибо, этому неуклюжему, но краеугольному камню), нет; в свете качественно нового мышления он предстал в неузнаваемом облике.

Структура содержания в самой общей форме нынче такова.

Мировоззренческие основы художественного содержания (нравственно-философские стратегии), *переходя* в модусы художественности (стратегии художественной типизации, такие как персоноцентрическая валентность, пафос, поведенческие стратегии персонажа, метажанр, род, жанр), *переходят*, далее, в стиль. Стиль может вернуться к своей праоснове – *перейти* в концепцию личности.

Так в современной версии содержание переходит в стиль, ибо, как известно, «форма есть не что иное,

как переход содержания в форму, а содержание есть не что иное, как переход формы в содержание» (Гегель). Если полярным противоположностям в принципе отказать в *переходах* (которые на языке науки называются *отношением*), то это уже будет не современный уровень мышления, поддерживаемый всеми науками, не только (и, пожалуй, не столько) гуманитарными. Прежде всего, физикой и математикой. Переход есть свойство материи: примерно так ставится вопрос.

Литература есть не что иное, как переход личности в стиль. Все это согласуется с современным представлением об информационной структуре личности, которая имеет вертикальное измерение, *переходящее* снизу – вверх (от природы к культуре, от психики к сознанию, от частного – к общему): тело – душа – дух. *Верх* в данной «переходной модели» как более высокая информационная инстанция отвечает за отношение познания, а *низ* – за приспособление. Чем ниже – тем проще управление информацией; чем выше – тем сложнее, но при этом адекватнее многомерной реальности. Переход сверху вниз, само собой, никто не отменял. Все строго в соответствии с диалектикой.

Как только вырываемся из этих общих координат, получаем конкретную путаницу, всегда и везде.

Сегодня конкретное, эмпирическое литературоведение, отторгающее методологию и сосредоточенное на изучении фактов, переходит в категорию «литературоведческая мифология».

В этом, вполне определенном, смысле литературоведение только формально является наукой, изучающей форму, содержанием которой является бессодержательность, или изучающей содержание, которое отказывается переходить в форму. *Содержания как перехода содержания в форму* не существует как точки отсчета, она не присутствует ни в науке, ни в ее предмете.

Вот откуда безудержный субъективизм и тотальная психологизация методологии, следствием чего является терминологическая неразбериха, та самая мутная вода, в которой лучше всего ловится рыбка, то бишь конкретный результат. Посмотрите на темы диссертационных исследований последнего времени: они все ориентированы на конкретный результат (не на *переходные моменты*, боже упаси!). Императив литературоведения, гласящий, что нет ничего более конкретного, нежели универсальные законы, не берется в расчет, ибо ставит под сомнение все конкретные достижения гуманитариев.

Общество, повторим, это устраивает. Это конкретно. Однозначно.

Приходится констатировать: налицо зазор между возможностями науки и потребностями общества. Разумеется, противоречие это решается, как всегда, в пользу общества (в пользу более сильного, что является правилом природы, но не культуры). Оно слышит только то, что хочет слышать. Свет мой, зеркальце, скажи: это уже не сказка и не присказка, это принцип финансирования науки.

И все же новая – *персоноцентрическая* – структура художественности появилась. Как?

А вот это уже по нынешним временам почти сказочная история...

М.М. Жбанков
(Минск, Беларусь)

Исследуется проблема дефиниции и соотношения объема понятий «текст» и «дискурс». Рассматриваются лингвистический, психолингвистический и коммуникативный подходы к тексту, а также признаки, необходимые и достаточные для определения текста. Обобщаются взгляды на природу дискурса, определяются структурный и функциональный подходы к его изучению. Выявляется характер соотношения дискурса и текста с позиций коммуникативно-деятельностной парадигмы в языкознании.

Первая проблема, с которой сталкивается исследователь в области текстологии и дискурсологии, заключается в отсутствии единого общепризнанного определения ключевых понятий данных лингвистических дисциплин. Термины «текст» и «дискурс», которые широко употребляются в филологической и философской научной литературе, иллюстрируют парадоксальный феномен того, как наиболее востребованное оказывается наиболее размытым. (В этом отношении с ними может конкурировать термин «концепт»). Данная статья посвящена систематизации существующих подходов к определению текста и дискурса, а также соотношению содержания данных понятий.

Н.С. Болотнова отмечает три основных подхода к определению и изучению текста: лингвистический, психолингвистический, коммуникативный.

В рамках лингвистического подхода можно выделить узкую и широкую интерпретации. Согласно первой текст трактуется как «последовательность языковых единиц любого порядка» (В.Г. Борботько), «абстрактная единица языка наивысшего уровня» (В.И. Карабан), «максимальная языковая единица» (Г.В. Колшанский) и т. п.; согласно второй – как реализация языковой системы, языковых уровней и их единиц (Н.А. Купина), произведение речи (О.С. Ахманова, В.А. Кухаренко, В.В. Одинцов, Н.Д. Зарубина) и т. д.

Исследователи, придерживающиеся психолингвистического подхода к тексту, определяют данный феномен в деятельностном аспекте, делая акцент на процессе восприятия текста (Ю.К. Лекомцев и др.) или его порождения (В.Б. Апухтин и др.). В последние годы разрабатывается интегративный психолингвистический подход к пониманию текста, способный, по словам А.А. Залевской, объяснить базовые процессы понимания текста «наивным» читателем – те процессы, которые обеспечивают саму возможность разгадки реципиентом того, что заложено в текст автором (см. подробно об этом в [1]).

При коммуникативном подходе текст рассматривается как целостное речевое произведение, выступающее «формой коммуникации» (работы Е.В. Сидорова, И.И. Ковтуновой и О.Л. Каменской). Е.В. Сидоров интерпретирует текст «как коммуникативную систему речевых знаков и знаковых последовательностей, воплощающую сопряженную модель деятельности адресата и отправителя сообщения» [2, 5].

Очевидно, что речевые произведения, по отношению к которым употребляют термин «текст», варьируют самым широким образом с точки зрения и содержания, и структуры, и объема. Е.С. Кубрякова замечает, что текст относится к «наиболее очевидным реальностям языка» и что способы

его интуитивного выделения не менее укоренены в сознании современного человека, чем способы отграничения и выделения слова. Эти способы основаны на предположении, что любое завершенное и записанное вербальное сообщение может идентифицироваться как текст (если завершенность подсказана тем или иным формальным способом). Интересны аргументы Е.С. Кубряковой, снижающие важность критерия завершенности: а) многие тексты так и не были завершены авторами и остались незаконченными; б) нередко стихотворный текст завершается многоточием, предполагающим возможность «додумывания». Трудности определения понятия «текст», по Е.С. Кубряковой, состоят в том, что сложно, во-первых, сведение всего множества текстов в единую систему, а во-вторых – обнаружение в этом множестве набора признаков, необходимого и достаточного для признания текста категорией классического (аристотелевского) типа [3].

Таким образом, общепризнанного определения текста до сих пор не существует (авторы разных дефиниций делают акцент на разных сторонах этого феномена). Однако можно назвать дефиниции, которые учитывают многоаспектность феномена «текст» и соответственно имеют общепризнанный авторитет, – таково, например, определение И.Р. Гальперина, часто цитируемое в работах по теории текста: «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [4, 18].

Данная дефиниция, конечно, описывает некие прототипические, «идеальные» тексты, поскольку тексты реальные, как известно, могут а) объективироваться в устной форме и быть предназначенными специально для аудирования, б) не иметь заголовка, в) быть равными одному сверхфразовому единству и даже одному предложению (объявление, призыв, лозунг и т. п.).

Если же говорить о практически удобном, или «рабочем», понимании, наиболее распространенном сегодня в научном и дидактическом контекстах, то это понимание текста как единицы синтаксического уровня языка, которая может объективироваться в виде отдельного высказывания, сложного синтаксического целого и значительного по объему завершеного произведения. Впрочем, такое положение вещей расценивается как неудовлетворительное с точки зрения многоаспектной

природы текста: как пишет И.С. Болотнова, «такая многозначность термина явно нежелательна» [5, 127].

С понятием текста (и коммуникации) сегодня тесно связано понятие дискурса, определение которого вызывает не меньше вопросов. Ср. комментарий Т.А. ван Дейка: «Понятие дискурса так же расплывчато, как понятие языка, общества, идеологии», «Зачастую наиболее расплывчатые и с трудом поддающиеся определению понятия становятся наиболее популярными» [6].

Д. Шиффрин логично объясняет многообразие определений дискурса наличием различных научных парадигм. Так, с позиций формальной, или структурной, парадигмы, дискурс – это уровень языковой структуры выше предложения (т. е. понятие дискурса синонимично понятию текста). С позиций функциональной парадигмы, дискурс – это социально и структурно организованная речь, которая позволяет реализовать определенные функции, т. е. социальное взаимодействие [7].

М. Фуко определил дискурс как «сумму общепринятых типов устной и письменной речи и соответствующих им форм власти» [8]. Социальный аспект дискурса акцентирован и в дефиниции, предложенной Н.Д. Арутюновой: «связный текст в совокупности с экстралингвистическими прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте» [9, 136]. В современной лингвистике существует ряд подходов к определению термина «дискурс», которые Т.Н. Хомутова систематизировала следующим образом: 1) речь и текст (В.В. Богданов, М.Л. Макаров, Д. Таннен); 2) социальное взаимодействие (Р. Фасолд, Дж. Браун); 3) отдельный акт речевой коммуникации (Е.В. Сидоров); 4) коммуникативное событие (Т.А. ван Дейк); 5) высказывание (Д. Шиффрин); 6) текст плюс ситуация (Дж. Остман); 7) фрагмент текста, сверхфразовое единство, «нетекстовая организация разговорной речи», «вербальное общение, речь» (Е.С. Кубрякова).

Три из приведенных выше определений опираются на термин «текст», при этом дискурс а) понимается синонимично тексту, б) включает в себя текст как конечный продукт (наряду с процессуальной стороной коммуникации), в) является частью текста. Т.Н. Хомутова

отмечает, что данные термины могут рассматриваться как полные синонимы и употребляться взаимозаменяемо (О.Л. Каменская, Ю.А. Левицкий); соотноситься по принципу «текст – абстрактная единица языка, дискурс – реализация этой единицы в речи» (Т.А. ван Дейк, Дж. Синклер); текст может трактоваться как часть или аспект дискурса (В.В. Богданов, М.Л. Макаров, Д. Таннен, Ю. Хабермас), а дискурс – как совокупность текстов (А.А. Карамова). Кроме того, текст и дискурс представлены в научной литературе как различные аспекты а) коммуникации, б) дискурс-текста, в) совокупности коммуникативных речевых актов. При этом дискурс – это речевая деятельность, процесс; текст – продукт этой деятельности и средство коммуникации (см. подробнее в: [10]).

При всем разнообразии трактовок соотношения понятий «текст» и «дискурс», их так или иначе проецируют на соотношение процесса/деятельности и результата/продукта. Помимо этого, исследователи неоднократно отмечали, что изучение дискурса возможно лишь посредством рассмотрения составляющих его текстов [11, 12].

В свете сказанного становятся очевидными те противоречия, которые необходимо преодолеть для корректной дефиниции понятия «дискурс». Во-первых, это противоречие между трактовкой дискурса а) исключительно как совокупности текстов или б) исключительно как коммуникативного события. В процессе последнего так или иначе порождается текст (ср. понятие «локуция» у Дж. Остина, модель речевой коммуникации Р. Якобсона), что демонстрирует неразрывную связь феноменов «текст» и «дискурс». Во-вторых, это противоречие между определениями дискурса как а) «текста к контексту» и б) «единства текста и речевой деятельности»: при изучении дискурса нельзя отбросить ни контекстуально-ситуационный, ни процессуальный аспект.

Таким образом, нам представляется наиболее логичным понимание, согласно которому дискурс предстает единством речевой деятельности как коммуникативного процесса и текста как ее конечного продукта, взятых в некоторой ситуации (контексте).

Литература

1. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Н.С. Болотнова. – 2-е изд., доп. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2006. – 631 с.
2. Сидоров, Е.В. Проблемы речевой системности / Е.В. Сидоров. – М., 1987. – 140 с.
3. Кубрякова, Е.С. О тексте и критериях его определения / Е.С. Кубрякова // Структура и семантика. Т. 1. – М., 2001. – С. 72–81.
4. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 138 с.
5. Болотнова, указ. соч.
6. Dijk T.A. van, Ideology: A Multidisciplinary Approach / T.A. van Dijk. – London: SAGE Publications Ltd, 1998. – 390 p.
7. Schiffrin, D. Approaches to Discourse / D. Schiffrin. – Cambridge, MA: Blackwell Publishers Inc., 1994. – 470 p.
8. Foucauld, M. The Archeology of Knowledge / M. Foucauld. – London, Routledge Classics, 1989. – 239 p.
9. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 136–137.
10. Хомутова, Т.Н. Типология дискурса: интегральный подход / Т.Н. Хомутова // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Лингвистика. – 2014. – Т. 11, № 2. – С. 14–20.
11. Fairclough, N. Discourse and social change / N. Fairclough. – Cambridge: Polity Press, 1992. – 266 p.
12. Parker, I. Discourse dynamics: Critical analysis for social and individual psychology / I. Parker. – London: Routledge, 2014. – 170 p.

И.Э. Кашекова

(Москва, Россия)

В статье рассматриваются средства художественной выразительности образного языка изобразительного искусства. Любое произведение искусства представляет собой определенным образом выстроенный текст. Автор рассматривает способы «прочтения» текстов изобразительного искусства – буквальный, т.е. перечисление, что именно изображено художником, и коннотативный, выявляющий сопутствующие значения, которые включают семантические аспекты и контексты жизни автора и его времени. На примере натюрморта Б.М. Неменского «Память Смоленской земли» приводится интерпретация художественного произведения с помощью образного языка метафоры, символа, иносказания.

«Границы моего мира определяются границами моего языка»

Л. Витгенштейн

Одним из важных аспектов культуры является язык. Немецкий филолог Вильгельм Гумбольдт представляет язык как вечный и непрерывный процесс духовного творчества, как **деятельность**, выражающую глубинный дух народа. Всякий язык **общения** строится на системе, состоящей из множества **знаков**, дополненных набором синтаксических, семантических и прагматических правил, существующих для языков естественных, формальных и образных.

Образные языки – языки искусства – исторически сложившиеся в человеческом обществе системы континуальных символических (визуальных, вербальных или тактильных) сигналов, выражают мировоззрение, социокультурные установки общества, мысли и чувства, автора. Они способны передавать информацию в любой области наблюдаемых или воображаемых явлений, понятную человеку любой национальности.

Коммуникативная функция искусства реализуется при условии знания воспринимающим языка искусства, всех его нюансов и тонкостей. Ю.М. Лотман определял искусство как особым образом организованный язык. «Всякий язык, – писал ученый, – пользуется знаками, которые составляют его «словарь»... всякий язык обладает определенными правилами сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна иерархичность». Знаковая система языка изобразительных искусств тоже имеет свою иерархичность и правила сочетания знаков, которые, выстраиваясь в текст, наделяют его особой эмоционально-образной выразительностью.

Язык искусства не отождествляется с формой произведения, он гораздо сложнее и многомернее, так как искусство говорит с нами не только цветом, линией, ритмом, объемом, а художественными образами. Линии, цвет, ритм, фактура это лишь «буквы», посредством их рождается главное – художественный образ, без него нет, и не может быть настоящего искусства. Художник, отражая окружающий мир, передает свое видение и восприятие этого мира. Для полноты и целостности передачи замысла он как бы «шифрует» заинтересовавшие его объекты и явления, используя язык знаков и символов. От зрителя требуется интенсивная работа мысли и чувства по опознанию, оценке и обобщению. При этом «кодирование» художника, также как опознание и оценка зрителя, не могут проходить вне ассоциаций. Именно приемы художественного творчества, возбуждающие яркие переживания и ассоциации на основе отражения или опознания и оценки объекта или явления, способствуют раскрытию художественного образа и составляют **эмоционально-образный язык искусства**. Материальной формой воплощения художественного образа выступает художественный язык.

Язык является одной из форм воплощения сложного символического мира человека. Звук, знак, образ передают внутреннюю духовную жизнь. Давно замечено, что чем богаче внутренний мир человека, тем богаче его язык. Причем это может быть язык в нашем обычном понимании – слова и речь, т.е. естественный язык. Это может быть количественный язык науки – лаконичный и точный. Но мы ведем речь об образном языке, которым владеет искусство: языке эмоций и образов, эмоциональных оценок, запечатленного «живого чувства». Все эти имеющиеся в арсенале человечества языки не исключают, а дополняют друг друга, создают целостный образ культуры. Нюансы, используемых художником средств и приемов языка художественной выразительности зависят от смысла, который он вкладывает в свое произведение. В разные эпохи разные народы имели свои излюбленные приемы и способы передачи окружающего мира, это и обуславливало разнообразие их искусства, многообразие художественных стилей и направлений. Но, несмотря на многочисленные вариации этих приемов, существуют общие и извечные свойства языка художественной выразительности. Оптимальное использование которых позволяет художнику наполнить свою работу внутренним содержанием. Также как слово может иметь целый круг значений, любое средство художественной выразительности языка изобразительного искусства – цвет, линия, объем, ритм и т.д. – могут иметь массу различных значений. Понять которые мы можем, лишь в совершенстве владея языком пластических искусств. В искусстве любой художественный образ выражает неизмеримо больше, чем сама воспроизведенная вещь. Ведь эта вещь может олицетворять кого-то или что-то, а может помочь нам увидеть нечто совсем другое, то с чем она отождествляется. В этом случае предмет становится не просто атрибутом, он вырастает до метафоры или даже символа и приобретает образно-символическое значение.

В некотором смысле уже само название предмета является его символом, опознавательным знаком. Но метафорическое отождествление этого предмета будит новые ассоциации и в итоге рождается необычный образ, содержащий в себе и реальность и фантазию одновременно. Художественные символы возникают, как правило, как образное выражение эмоций и потому несут большую эстетическую нагрузку. С их помощью передаются всевозможные понятия и чувства, кодируются реальные происшествия. Только целостное переживание окружающего мира, основанное на единстве эмоций, творческого воображения и интеллекта способно воспроизвести его образно.

Любое произведение искусства представляет собой определенным образом выстроенный текст. Текст, как

известно, можно прочесть. Произведение изобразительного искусства можно «прочитать» двумя способами: буквально, то есть перечислить, что именно изображено художником, или коннотативно, выявив сопутствующие значения, включающие семантические аспекты и контексты жизни автора и его времени. Первый способ прочтения – «описание», второй – «анализ».

В искусстве любой художественный образ выражает неизмеримо больше, чем сама воспроизведенная вещь. Ведь эта вещь может олицетворять кого-то или что-то, а может помочь нам увидеть нечто совсем другое, то с чем она отождествляется. В этом случае предмет становится не просто атрибутом, он вырастает до метафоры или даже символа и приобретает образно-символическое значение. В некотором смысле уже само название предмета является его символом, опознавательным знаком. Но метафорическое отождествление этого предмета будит новые ассоциации и в итоге рождается необычный образ, содержащий в себе и реальность и фантазию одновременно. Художественные символы возникают, как правило, как образное выражение эмоций и потому несут большую эстетическую нагрузку. С их помощью передаются всевозможные понятия и чувства, кодируются реальные происшествия. Только целостное переживание окружающего мира, основанное на единстве эмоций, творческого воображения и интеллектуальных способностей способно воспроизвести его образно.

Проиллюстрируем выше сказанное на примере натюрморта Б. Неменского «Память Смоленской земли». Натюрморт суров и лаконичен. Всего два предмета на грубо отесанном деревянном столе: солдатская каска и чугунок. На первый взгляд кажется, что художник немногословен. О чем же он хочет поведать зрителю? Предметы на столе – это, несомненно, знаки военного времени. Пробитая каска – знак павшего в бою солдата, треснутый чугунок – разрушенного крестьянского быта. Каска и чугунок материальны, предметны, мы ощущаем их тяжесть, чувствуем ржавчину и колючие пробоины и трещины – они выступают как представители войны. Это лицевая, доступная каждому сторона произведения. Если мы будем воспринимать эти предметы только как знаки, то на этом разговор наш с художником закончится. Но существует и вторая, скрытая сторона, не видная с первого взгляда, но неизмеримо более глубокая и значительная.

Представим предметы, помещенные в натюрморт как символы. Вспомним, что символ – это врата в нематериальный, почти эзотерический, мир смыслов. Он отличается неисчерпаемостью содержания.

Художник разместил предметы на массивном, тяжелом, грубо сработанном столе. Какие ассоциации он будит в нас? Такие столы были центром жизни крестьянской семьи. За ним большая семья собиралась в полном составе по будням и по праздникам. Решались общесемейные проблемы, строились планы, за ним дети получали азы семейного воспитания, усваивали принципы общежития. Этот же стол являлся центром домашней вселенной и в дни скорби. На него ставили гроб с телом умершего члена семьи, зажигали свечи, плакали, прощались. Почему именно такой крестьянский стол изображен на картине? Наверное, потому, что не было на Руси класса более многострадального, чем крестьянство, потому, что все невзгоды страны самым тяжелым грузом ложились всегда именно на крестьянские плечи. А еще потому, что память хранится дольше

всего в народной традиционной культуре, носителями которой тоже являются крестьяне.

С чем еще может ассоциироваться стол? Если мы вспомним известные христианские сюжеты, то невольно приходит сравнение с престолом, с жертвенником. В этом случае картина открывается нам по-новому. Ведь если стол – жертвенник, тогда, стоящий на нем чугунок ассоциируется с жертвенной чашей. Вспомните слова Иисуса Христа на Тайной вечери во время причащения апостолов: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». Тайная вечеря это последняя трапеза Иисуса Христа, определившая судьбы человечества. Чаша – знак, символ, благословенный самим Христом. Все последующие за этим страдания и муки, которые принял Иисус Христос называются «спасительными страстями» – так как они явились ценой, заплаченной им во имя спасения всех людей. Какие удивительные параллели возникают! Ведь тот, кому когда-то принадлежала каска – безвестный российский солдат – тоже оказался искупительной жертвой, пролившей свою кровь. Ценой его жизни обречено спасение людьми. Посмотрите на древнюю мозаику из храма Святой Софии в Киеве «Причащение апостолов». В центре под киворием, символизирующим храм – престол. Не правда ли очертания предметов на нем удивительно напоминают очертания того, что расположено на крестьянском столе в картине Б. Неменского? Такое «нечаянное», на первый взгляд, совпадение в искусстве называется *реминисценцией* (отзвук, смутное воспоминание, отголосок). Художник здесь неосознанно использует опыт предшествующих поколений.

В натюрморте особенно четко читается ярко освещенная горизонталь столешницы стола. А ведь горизонтальная линия является древним знаком горизонта, земной поверхности. Так что же перед нами? Стол, метафора жертвенника или земля, пропитанная слезами и кровью, стонущая под раскатами военных орудий? Не случайно слово «земля» вынесено в название картины. Сам Б.М. Неменский сравнивает поверхность стола с пьедесталом памятника двум значимым для каждого русского человека предметам.

Самый трагический предмет натюрморта – пробитая солдатская каска. Пробоина у виска с вогнутыми внутрь острыми краями не оставляет надежды на то, что солдат, на котором она была, остался жив. Он погиб, погиб во имя спасения остальных людей. Он явился той самой искупительной жертвой. Это его кровь и слезы его матери (жены, сестры, детей) пропитали Смоленскую землю. Не случайно верхняя выгнутая поверхность каски ассоциируется с перевернутым серпом, являющимся, как правило, символом женщины. Проходящая под ним горизонтальная линия (в нашем случае тень на столе) у некоторых народов России означала мертвого человека и являлась символом спокойствия в гробу. Бытует древнее поверье, что погребенные герои, которые покоятся в лоне матери-земли, когда-нибудь вновь оживут. В этом случае дуга каски читается как символ возрождения! Еще один момент, на котором нельзя не задержать внимание. Мы уже отметили, что в натюрморте четко прослеживается горизонталь: грани стола, тени от каски и чугунка, да и сам формат вытянутого по горизонтали прямоугольника. Горизонталь – это символ единства времени. Вертикаль же – символ вечности – здесь только намечается (правая ножка стола). Вечности дано пересекать время, в какой угодно точке. Точка, в которой пересекаются горизонталь и вертикаль – время и веч-

ность – превращается в источник энергии, из него мир развивается в четыре разные стороны. У нас – только в две. Взгляд зрителя невольно постоянно возвращается из центра композиции, от основных предметов в правый угол, именно туда, где расположена эта точка пересечения вертикали и горизонтали. Эта точка объединения противоречий, примирения вечного и конечного в человеческом существовании на основе любви ко всем людям и самоотречения во имя их. И если продолжение движения горизонтали мы можем угадать, то вертикаль явно обрывается.

Цвет в картине тоже имеет свою символику. Сдержанная гамма насыщена теплыми золотисто-коричневыми цветами. Золотой цвет это древний символ умиротворения, вечности, вечной жизни.

Каждый предмет, каждая деталь картины говорят нам об одном: о мужестве и самоотречении, проявленные простым человеком во имя любви к людям. О вечности его добровольного жертвенного подвига и о безграничной благодарности тех, ради которых он совершен. И о том, что только два вектора движения осталось у человечества. Первый – это путь во времени в любви и согласии, в сми-

рении и самоотверженности. Второй – тупиковый – опасный и трагический - путь войн и раздоров, непонимания и ненависти. Если человечество выберет этот путь – время остановится, человечество канет в вечность. Художник предсказывает это: не случайно так резко обрывается вертикаль в картине. И все же автор картины верит в победу добра и разума: падающий слева на предметы яркий солнечный свет вселяет надежду и придает картине жизнеутверждающий характер.

Вот о чем рассказали нам предметы в натюрморте «Память Смоленской земли». Правильно ли мы поняли художника? Это ли он хотел нам поведать? Возможно, мы слишком увлеклись и вышли за рамки того, что хотел нам рассказать художник. Но так и должно быть: ведь восприятие произведения искусства процесс творческий. И наш голос в диалоге с художником звучал так, что позволил нам стать его соавторами. А цель таланта художника – дать импульс к творческому пониманию его произведения, созвучному любому времени, увидеть в нем многомерность и многозначность, спрятанные от невнимательного взгляда.

Литература

1. Агеев, В.Н. Семиотика / В.Н. Агеев. – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 256 с.
2. Кашекова, И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов / И.Э. Кашекова. – М.: Академический Проект, 2009. – 853 с.+112 с. с цв. илл. – (Фундаментальный учебник).
3. Лотман, Ю.М. Об искусстве / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 2000. – 704 с.

УДК 81'38 (072)

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л.В. Климина
(Стерлитамак, Россия)

В статье рассматриваются вопросы формирования функциональных знаний студентов-филологов в соответствии с антропоцентрической парадигмой современной лингвистики.

В современной научной деятельности появились новые гуманитарные направления. Сравнительно-историческая и системно-структурная парадигмы как традиционные в языкознании сменились антропоцентрической парадигмой как ключевой в современной лингвистике, переключившей интересы исследователя с объектов познания на субъекта. В результате в начале XXI века сформировались актуальные для нового времени научные направления – лингвокультурология, этнопсихолингвистика и межкультурная коммуникация. Лингвокультурология – наука о взаимодействии языка и культуры – рассматривает язык как путь, по которому мы проникаем в ментальность нации. Изучение лингвокультурологии помогает увидеть тот культурный фон, который стоит за единицей языка. Целью этнопсихолингвистики является исследование национально-лингвокультурной, этнопсихолингвистической детерминированности речевой деятельности, языкового сознания, общения. Изучение проблем межкультурной коммуникации позволяет сформировать представление о том, что является универсальным и культурно-специфическим в коммуникации, и исследовать речевое и коммуникативное поведение участников межкультурного общения. Лингвокультурология, этнопсихолингвистика и межкультурная коммуникация как научные направления взаимосвязаны и обогащают друг друга.

Изучение учебной дисциплины «Лингвокультурология» предлагается студентам всех отделений филологического факультета вуза в восьмом семестре после знакомства с основами функциональной лингвистики и культурологии. Лекции посвящены обсуждению теоретических проблем: «Смена парадигм в языкознании» и «Антропоцентрическая парадигма как новая парадигма знаний и место в ней лингвокультурологии», «Статус лингвокультурологии в ряду других лингвистических дисциплин» и «Методология и методы лингвокультурологии», «Цель и задачи лингвокультурологии» и «Базовые понятия лингвокультурологии», «Взаимосвязь языка и культуры» и «Языковая картина мира», «Языковая личность» и «Лингвокультурологический анализ языковых сущностей». На практических занятиях по лингвокультурологии студентам русского, татарского, чувашского и иностранного отделений предлагается рассмотреть вопрос «Образ человека в мифе, фольклоре и фразеологии» на материале родного языка или изучаемого иностранного языка. Обсуждение вопроса завершается занятием-конференцией, на котором студенты знакомят аудиторию с результатами самостоятельного сопоставительного анализа доминантных ментальных признаков в структуре национальных языковых личностей на материале пословиц и поговорок. Продолжает практикум по лингвокультурологии сравнение художественных язы-

ковых картин мира писателей – представителей разных национальных культур. Преподаватель предлагает сопоставить смысл стихотворения М.Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» и текст его немецкого прототипа – произведения Г. Гейне «Ein Fichtenbaum stellt einsam». Внешний план эмоционального содержания стихотворения «На севере диком стоит одиноко...» – две яркие и красочные картины природы, рисуемые поэтом:

*На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одева, как ризой, она.*

*И снится ей всё, что в пустыне далекой, –
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растёт.*

Пейзажи резко противопоставлены друг другу, что проявляется в антонимии первой и второй строф стихотворения: реальный северный пейзаж (явь) и далекая прекрасная пейзажная картина (сон). В основе этого противопоставления – безысходное чувство одиночества, изображенное поэтом. Одинокой сосне снится это чувство, которое она испытывает наяву. Поэтому основной герой разбираемого лирического произведения – одиночество. Обратимся к стихотворению Heine «Ein Fichtenbaum stellt einsam»:

*Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh!
Ihn schläfert, mit weisser Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schwelgend trauert
Auf brennender Felsenwand.*

Лермонтов заменяет гейневский рассказ о разлуке влюбленных искренним описанием чувства одиночества человека. Русский поэт творчески воспользовался немецким оригиналом, чтобы сказать о чувстве, которое неизменно сопровождало поэта. Духовное одиночество испытывают основные образы текста – сосна и пальма: «стоит одиноко... сосна» – «одна... пальма растёт»; «на голой вершине» – «на утесе горячем»; «на севере диком» – «в пустыне далекой». Одушевленность сосны и пальмы (сосна «дремлет», «снится ей», пальма «грустна») отражается в четком пейзажно-символическом характере стихотворения. Оба образа символизируют человека, которого везде преследует чувство одиночества. В филологической науке ценным является исследование Л.В. Щербы стихотворения «На севере диком стоит одиноко...». Ученый указал на экспрессивно-эстетическую нагрузку категории рода в произведении М. Ю. Лермонтова, поскольку в немецком языке существительные «сосна» и «пальма» (Fichtenbaum, Palme) мужского и женского рода, а в русском переводе немецкого стихотворения данная родовая оппозиция нейтрализуется и «мотив одиночества, столь свойственный лермонтовской поэзии, несомненно, наличен, но и он не развит и во всяком случае не стоит на первом плане; зато появляется совершенно новый мотив: мечтания о чем-то далеком и прекрасном, но абсолютно недоступном, мечтания, которые в силу этого лишены всякой действительности» [5, 105].

Продолжает практикум по лингвокультурологии самостоятельная работа студентов по подборке и сравне-

нию художественных языковых картин произведения родной словесной культуры и текста его перевода на русский язык. Данная творческая деятельность будущих учителей словесности позволяет логично перейти к изучению стереотипов как явления культурного пространства, то есть к основным понятиям этнопсихологии и межкультурной коммуникации. Преподаватель обращает внимание на формирование способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах и формирование практических навыков и умений в общении с представителями других культур. Студентам предлагается подготовить реферативные сообщения по следующим теоретическим проблемам в области межкультурной коммуникации: «Сущность и формы межкультурной коммуникации», «Перспективы развития межкультурной коммуникации», «Специфика коммуникации в контексте бизнеса», «Межкультурная коммуникация в образовании», «Лингвокогнитивный подход к коммуникации». На семинарских занятиях будущие лингвисты обсуждают вопрос о многообразии культур по стилю коммуникации, представляют коммуникационный портрет личности и его виды, описывают развитие симпатии в межкультурной коммуникации и ее роль в условиях глобализации, характеризуют повседневные ситуации межкультурного общения и указывают приоритетные сферы его развития. Преподаватель стремится к тому, чтобы студенты разобрались в национально-культурной специфике построения дискурса и в понятиях: «ментефакты», «прецедентные феномены», «стереотипы». Выявление прецедентных феноменов и их классификация позволяют углубить знания особенностей русского культурного пространства. Будущие лингвисты также разбирают структуру фрейма и работают с материалами «Русского ассоциативного словаря», позволяющего проникнуть в социальную память и сознание носителей языка и получить ответ на вопрос: «Как мыслят русские в современной России?». В настоящее время в связи с активным развитием туристской индустрии особую значимость представляет изучение стереотипов сознания и стереотипов поведения в межкультурном общении. Результаты индивидуальных исследований студентов в данной области позволят углубить знания культур и обычаев конкретных народов и стран. Для практикума по межкультурной коммуникации нами разработаны тестовые задания. Тест помогает определить уровень теоретической и практической подготовленности студентов – будущих специалистов в сфере зарубежного туризма, которым нужно из трех-пяти вариантов ответов выбрать один правильный. Предлагаем познакомиться с одним из вариантов тестовых заданий.

A1. Кто отличается широтой души, оптимизмом, открытостью, доверчивостью, азартностью?

1. Американцы
2. Поляки
3. Немцы
4. Россияне
5. Испанцы

A2. Очень дисциплинированные, ответственно относятся к своим туристским обязанностям, охотно изучают зарубежную культуру, но мало интересуются природными объектами и пляжным отдыхом.

1. Греки
2. Шведы
3. Японцы

4. Россияне

5. Испанцы

A3. Укажите национальные особенности польских туристов

1. Коллективизм, приспособляемость, дар импровизации, умение продуктивно отдыхать и работать.

2. Не любят ездить за границу, где возможны всякие неудобства, предпочитают комфортные условия для отдыха в своей стране, где есть разные климатические условия.

3. Учтивы, аккуратны, разумны, вежливы, отличаются экономностью, поэтому, заплатив за отдых, стараются получить все удовольствия.

В отечественном языкознании памятники русской письменности традиционно рассматривались в качестве объекта исследования формирования русского национального языка, его структуры и стилистических свойств. В современной функциональной лингвистике в рамках антропоцентрической парадигмы активно развивается направление, в котором литературные памятники России изучаются как тексты культуры, позволяющие проникнуть в сущность национальных идеалов восточнославянской языковой личности. Действительно, язык произведений словесности различных стилистических разновидностей, родов и жанров отражает интеллектуальную, духовную, социальную информацию человека и является источником важных сведений о специфичности культурных ценностей русской национальной личности и уникальности русского языкового сознания. На междисциплинарных занятиях по истории русского литературного языка и лингвокультурологии рекомендуем обсудить вопрос «Русская языковая личность как носитель национальной русской культуры». К занятиям просим подготовить сообщения: «Восточнославянская языковая личность XI века», «Древнерусская языковая личность удельного периода русской истории», «Великорусская языковая личность XIV–XVI веков», «Характерные черты русской языковой личности XVII века». Представить образцы описания русской языковой личности, отраженной в исторических текстах XI–XVII веков, помогут классические исследования литературных памятников России и научные работы современных ученых, разрабатывающих антропоцентрическое направление в лингвистике.

Современный антропоцентрический подход к изучению художественного текста обуславливает рассмотрение в его семантическом пространстве денотативного, концептуального и эмотивного содержания. Данный материал предлагается студентам в процессе изучения филологического анализа текста. Семантическое пространство художественного текста включает следующие текстовые универсалии: «человек», «время», «пространство» [1, 53]. Человек, его переживания и духовные искания составляют центр литературного произведения, помимо информации о действительности. Антропоцен-

тризм текста обусловлен центральной позицией человека в облике автора и облике персонажей в семантическом пространстве текста. Человек в тексте изображается во времени и пространстве. Категории «время» и «пространство» обнаруживают знания автора о мире, то есть соотносены с категорией образа автора в тексте и выполняют конкретизирующую и характерологическую функции. Денотативный подход к анализу художественного текста позволяет выявить отображенный в нем объективный мир. Авторское знание о мире закрепляется в текстовых содержательных категориях денотативной структуры – времени и пространства. Исследование денотативного пространства текста предполагает анализ образа художественного пространства и образа художественного времени, воплощенных в тексте. Концептуальная информация семантически выводится из всего текста. Впервые концептуальный смысл текста как компонент его семантики рассмотрен в монографии И.Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического анализа». Ученый выделил основные виды информации текста: содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую [2, 28]. Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин, соглашаясь в целом с типологией И.Р. Гальперина, предлагают различать содержательно-фактуальную / содержательно-концептуальную информацию и эксплицитную / имплицитную, то есть подтекстовую информацию [1, 55]. Исследователи выясняют виды текстовой информации, выявляя индивидуально-авторское понимание явлений, описанных в тексте. В настоящее время концептуальный анализ используется преимущественно в лексике и фразеологии, а в области лингвистического исследования художественного текста находится в стадии разработки [1, 59]. Слова-концепты художественного мира сложно четко определить и описать, так как в концептосфере литературного произведения может быть множество личностных смыслов согласно законам порождения и восприятия текста. Рассмотрение эмотивного содержания в семантическом пространстве текста связано с основополагающими категориями художественного произведения – автор и персонаж. Исследователь выявляет эмотивные смыслы, включенные в структуру образов персонажей, и эмотивные смыслы в структуре образа автора, а также определяет эмоциональную тональность текста. Антропоцентрический подход к изучению художественного текста позволяет выделить многообразные текстовые эмотивные смыслы, которые гармонично переплетаются.

Таким образом, антропоцентрическая парадигма современной лингвистики отражена в содержании лекционного материала и практических занятий таких вузовских учебных курсов, как «Лингвокультурология», «Основы межкультурной коммуникации», «История русского литературного языка», «Филологический анализ текста».

Литература

1. Бабенко, Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 496 с.
2. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 140 с.
3. Красных, В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. – 284 с.
4. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
5. Щерба, Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом // Избранные работы по русскому языку / Л.В. Щерба; Акад. наук СССР. Отд-ние лит-ры и языка. – М.: Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1957. – С. 97–109.

С.И. Колбышева
(Минск, Беларусь)

В статье рассматриваются доминирующие ценностные установки и условия создания ценностных новообразований современной молодежи в информационном обществе. Выделяются проблемы потребностей и социальных возможностей молодых людей. Анализируется познание Нового и создания новости как процесс самоидентификации, самоопределения и самореализации представителей молодежных субкультур.

Каждая культурная парадигма предлагает сложный спектр выражаемых в ее рамках тенденций, традиций и достижений как культурных проявлений человеческого духа. В официальной культурной парадигме всегда можно выделить особую форму проявления – массовую культуру, то есть культуру, в некотором смысле противопоставленную официально признанной культуре и культуре народной, но, вместе с тем, являющуюся культурой-доминантой. Особое место в структуре массовой культуры в настоящее время занимает молодежная культура (либо «субкультура», если принять во внимание наличие в ней собственного ценностного строя, отношений, норм и моделей поведения).

Понимание общественностью молодежной субкультуры как особого явления современности приводит неизменно к осмыслению, выделению и фиксации (в том числе, научной) доминирующих новообразований основных носителей молодежных установок, во многом противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в каждом конкретном культурном контексте. Одним из таких доминирующих новообразований в начале XXI века, на наш взгляд, является резкое субъективированное восприятие действительности, связанное «с новыми условиями функционирования человека, поскольку информационное пространство принципиально изменило видение всех систем и структур организации жизнедеятельности» [1, 12].

Выделенное новообразование обусловлено рядом причин, в числе которых следует обратить внимание, во-первых, на процесс интериоризации современной молодежью разнохарактерных ценностей, норм и стандартов, заимствованных из различных, часто конфликтующих социокультурных систем; во-вторых, на сложность культурной самоидентификации, возникающей из-за несоответствия растущих потребностей молодых людей и возможностей, предоставляемых социумом, что определяет возникновение внутреннего дискомфорта и напряжения личности, выражаемых в соответствующих этому состоянию внешних формах поведения и деятельности. Однако обе причины, несмотря на их мировоззренческую направленность, суммируются в творческой составляющей молодежных субкультур, а именно – в попытке «обнаружить» себя в агрессивном по отношению к ним мире, стать «замеченными», испытать на себе «состояние зрелости» [2, 32].

Более всего творческая потенция молодежи проявляется в восприятии, интерпретации и последующем воспроизведении Нового знания. Данный процесс интересен молодежи как процесс столкновения мнений, как возможность транслировать свою «инаковость», проявлять свойственную молодежной субкультуре конфликтность, протестность, создавать новую смысловую ре-

альность (в противовес традиционной, ожидаемой). Парадокс заключается в том, что, несмотря на явное противопоставление молодежи социуму «я (мы) – они», именно в процессе познания, содержащем в себе заряд самореализации, самостоятельности, свободы выбора, и реализуется уже сформировавшийся уровень самоидентификации личности молодого человека.

Безусловно, в информационную эпоху процесс познания Нового совмещен с коммуникативной деятельностью человека, то есть, связан со средствами массовой коммуникации. Данное обстоятельство основано на том, что потребность познания есть биологическая потребность личности и, соответственно, в рамках хронотопа «Новое знание» скорость и мобильность его приобретения, предлагаемая СМИ, имеет приоритетное значение. И, если сущность человека есть деятельность по приобретению и воспроизведению Нового знания, считаем, что хронотоп «Новое знание» есть важнейшая составляющая каждой конкретной молодежной субкультуры.

Следует отметить, что в рассматриваемом хронотопе особое значение имеет начальное (диффузное) ощущение Нового как будущей новости – акт интериоризации (Новое) и экстериоризации (новость). В этом случае прикосновение к Новому есть нечто сакральное, предполагающее некоторое изменение во внутреннем мире воспринимающего, превосходящее эволюцию личности и обобщенное волевое усилие, сублимируемое в будущей новости как конечном оформленном творческом продукте.

Последующими мыслительными операциями в процессе экстериоризации Нового и появления новости как творческого авторского продукта являются: обнаружение индивидуально-личностных смыслов воспринятой реальности и ее переживание, появление нового эмоционального отношения к этому опыту, и, соответственно, новые возможности понять себя – до и после вступления в акт познания с целью получить некое новое «я». При этом рациональное соединяется с иррациональным, смыслосчитывающие операции – с новыми знаковыми вербальными и невербальными конструкциями, известное дополняется неизвестным, фрагментарность заполняется до нового целостного продукта. В результате появляется новая смысловая и знаковая реальность (новость) и новый автор.

Интериоризация и экстериоризация Нового, на наш взгляд, есть социальное творчество представителей молодежных субкультур. Создание новости как нового творческого продукта для юношей и девушек – социальная потребность, возможность реализации которой не в полной мере предоставлена в системе образования. Это весьма тревожит, так как не реализованная познавательная потребность ставит молодежь в условия контрпродуктивной аутоагрессивной самореализации в рамках молодежных субкультур, что является нежелательным в сложившейся в настоящее время образовательной ситуации. Понимание данной про-

блемы педагогической общественностью инициирует основных ее представителей к поиску новых педагогических возможностей реорганизации социальной составляющей образования (не «делай здесь-и-

сейчас», а «чувствуешь – делай, что чувствуешь»), что позволит решить основную, на наш взгляд, проблему – проблему отчуждения современной молодежи от образования.

Литература

1. Бондырева, С.К. Панкультура и молодежная субкультура / С.К. Бондырева // Актуальные проблемы молодежной субкультуры : сб. статей / Московский психолого-социальный ин-т ; под общей ред. О.В. Красновой. – М., 2008. – С. 8–19.
2. Бушмарина, Н.Н. Проблемы молодежных субкультур в научных исследованиях конца XX – начала XXI века / Н.Н. Бушмарина // Актуальные проблемы молодежной субкультуры : сб. статей / Московский психолого-социальный ин-т ; под общей ред. О.В. Красновой. – М., 2008. – С. 19–30.
3. Колбышева, С.И. Социальная сущность коммуникации / С.И. Колбышева // Медиаобразование в школе: новые концепции и подходы : материалы Междунар. науч. конф., 26–27 сентября 2013 г. / УО «Московский государственный ун-т им. Ломоносова; под ред. И.В. Жилавской [и др.]. – Москва, 2013. – С. 243–245.

УДК 81:1 + 378

ТЕКСТ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.И. Левко
(Минск, Беларусь)

Статья посвящена рассмотрению текста как символической формы выражения духовной культуры и важнейшей предпосылки формирования личности студента в системе университетского образования.

Каждой исторической эпохе, выражающей дух времени, соответствует характерный для нее тип образования, важнейшей предпосылкой которого является устный или письменный текст. В одном случае это образование основывается на текстах священных писаний; во втором, – на формальной логике оперирования философскими категориями и научными понятиями, как это имело место в средневековой схоластике. В – третьем, – на выводимых с помощью этой логики теоретических предположениях и эмпирическом опыте. Основным требованием сегодняшнего дня является практико-ориентированное образование или социально-культурное образование, ориентированное на формирование личности студента. При подготовке специалистов в различных областях знания наиболее приоритетным становится компетентностный подход. «Компетентность как считают Э.М. Калицкий и Н.Г. Гончарик, – это обобщенная характеристика профессионализма специалиста вне зависимости от его личностных качеств, т. е. «профессионализм в человеке». Напротив, компетентность – это персонифицированная компетенция, «человек в профессии». Или квалификация представляет собой объективированную, а компетентность – субъективированную форму профессионализма [2, 20].

Субъективированная форма профессионализма напрямую связана с духовной культурой и духовной практикой, реализуемой на основе текста в системе гуманитарного знания. Для того, чтобы достигнуть такого уровня профессионализма система вузовского образования рано или поздно будет вынуждена отказаться от безраздельного доминирования в ней механистического по своему существу типа мышления, называемого классической рациональностью. Такой тип рациональности основывается на абсолютизации методов естествознания и рассмотрении человека вне контекста духовной культуры общества и вне анализа ее символической природы.

К сожалению, тенденция к гуманизации системы образования, наметившаяся в начале 90-ых годов идет явно на спад в связи появлением нового типа социальной жизни и экономического порядка, называемого мо-

дернизацией, потребительским обществом или транснациональным капитализмом. Ориентация же исключительно на экономический рост предполагает и унификацию образования как важнейшее условие цивилизационного развития.

«Западные историки, – как утверждает, например, английский исследователь Тойнби, – ...считают, что в настоящее время унификация мира на экономической основе Запада более или менее завершена, а значит, как они полагают, завершается унификация и по другим направлениям. Во-вторых, они путают унификацию с единством, преувеличивая, таким образом, роль, ситуации, исторически сложившейся совсем недавно и не позволяющей пока говорить о создании единой Цивилизации, тем более отождествлять ее с западным обществом» [4, 81].

В этих условиях чрезвычайно важно не только сохранить свой национальный суверенитет и национальную культуру, но и многократно усилить духовно-нравственный потенциал личности интеллектуальной элиты общества, выращиваемой в системе вузовского и послевузовского образования. По существу решение этой задачи напрямую связано с обеспечением национальной безопасности. И особая роль в этом плане принадлежит гуманитарному образованию и гуманитарным наукам.

Гуманитарные науки или науки о человеке всегда имели символическую духовную основу, выраженную в слове и соответствующих текстах, и были по существу культурологическими или социально-культурными, т. е. неразрывно связанными с формированием социума и его культуры. Они зарождались еще в лоне мифологического и религиозного общественного сознания и явились своеобразной первоосновой становления самосознания человека и его выделения из природы. Уже в самой этимологии слова «культура» отражается связь с «культом», «культивированием» как способом воздействия на духов: духов Богов, духов мертвых, духов животных и растений и даже неживых объектов, с помощью ритуалов и искусства. На этой основе создавались

соответствующие духовные образы совершенного и не совершенного, возвышенного и низменного, доброго и злого и т. д., как своеобразное выражение общечеловеческого начала в отдельном человеческом индивиду. Это начало как бы насильственно навязывалось ему «сверху». Оно культивировалось в нем специальными социальными институтами (ритуалами и культами, совершаемыми шаманами, церковью, государством, общественным мнением и т. д.) в соответствии с теми или иными эстетическими, нравственными, педагогическими и другими идеалами, первоначально трактовавшимися как выражение воли Божьей, и ставшими впоследствии предметом исследования этики, эстетики, логики, психологии, педагогики и других гуманитарных дисциплин. Природное и сакральное начало в человеке при этом рассматривалось как нечто само собой разумеющееся, как и то, что определяющим началом всему является дух, душа. Не случайно, поэтому психология, например, первоначально трактовалась как наука о душе. Как наука о психике человека она начинает представлять лишь на этапе господства в системе образования и культуры в целом естественнонаучного знания. Гуманитарная и естественнонаучная составляющая постоянно изменяются в своих пропорциях на протяжении истории развития данной науки в такой мере, что, порой, сложно определить к какому виду наук (естественной или гуманитарной) она относится. То же самое можно сказать о педагогике, социологии и других гуманитарных науках. Увлеченность естественнонаучными методами здесь доходит порой до полного абсурда и отрицания самой гуманитарной их основы.

Основой же всякого гуманитарного знания становился текст, который первоначально выступал в качестве своеобразной визитной карточки гуманитарных дисциплин. Как отмечал в свое время М.М. Бахтин, «текст является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой только могут и исследоваться эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования мышления».

Гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, выявляемых, манифестациях, выражениях, знаниях, за которыми стоят проявляющие себя боги (откровение) или люди (законы властителей, заповеди предков, безумные притчи и поговорки)

В основе первоначально лежит здесь вера, требующая только понимания – истолкования. Специфика гуманитарной мысли направлена на чужие мысли, смыслы, значения и т. п., реализованные и данные исследователю только в виде текста. Каковы бы ни были цели исследования, исходным пунктом может быть только текст» [1, 473–474].

Усвоение текста, на основе которого долгое время строился образовательный процесс, есть своеобразная идентификация чужих мыслей, сверхъестественных откровений и заповедей, основанных на вере в их изначальную истинность. Первоначально источником знаний выступали лишь священные писания. Само же образование исторически зарождалось в монастырских стенах. За пределы этих стен в виде церковных и светских школ оно выходит в средневековье. «Школьный учитель, – как отмечал в свое время известный российский реформатор и министр образования Николай Сперанский, – был тогда, прежде всего, доверенным лицом всех отцов семейств и посредником служителей рели-

гии. Он посвящал детей в тайны родного языка и приучал их губы воспроизводить его звуки» [3, 11].

С 12-го века, утверждает он в своих «Очерках истории народной школы в Западной Европе», не только во всех городах, но и во множестве деревень существовали уже школы, где состоятельным детям за деньги, а бедным бесплатно преподавали, учили читать, писать и считать. В общей своей форме, считает он, образование имело тогда чисто словесный характер. Заучивание различных текстов в то время было скорее правилом, чем исключением.

Средневековое образование долгое время носило исключительно религиозный характер. Детям внушалось, что все общественные учреждения даны людям свыше, что мир всегда был таким как есть. Однако изучение латыни и т. п. превратили церковные школы и в хранилище остатков греко-римской культуры. «Средневековая латинская школа в Западной Европе, прародительница современной гимназии и университета, является, – по мнению Н. Сперанского, – бесспорно, порождением католической церкви, но зачата она была не от христианства, как это принято думать, а от грубого языческого суеверия. Правда, с первых же своих шагов она стала отвечать и на другие запросы общества, но то было не стремление к знанию, и не любовь к просвещению, а чисто практические нужды светских и духовных правителей» [3, 37]. Потребности в своеобразных расчетах мореплавания, земледелия, торговли, производства и управления требовали и соответствующих светских знаний, прежде всего, математических, юридических, медицинских.

Слово Бога, выраженное в религиозном тексте как основа образования, впоследствии, в религиозной, а затем и светской философии стало рассматриваться не только как основа познания мира, но и формирования личности человека. Особенно отчетливо это проявилось в русском православном космолизме. Отличительной особенностью концепции языка русских космоистов является то, что язык перемещается ими из конвенциональной сферы в сферу бытийную, энергетическую или духовную. Дух, по их мнению, – это субъект, жизнь, свобода, огонь, творческая деятельность. Природа – объект, вещь, необходимость, определенность, пассивная деятельность, неподвижность. Дух, в отличие от природы, невозможно познать разумом или логическим мышлением. Он может быть познан только жизненным, духовным опытом. Духовное бытие человека, как полагает Н.А. Бердяев, тесно связано с духовностью божества. Божество может раскрыть себя только символически, поскольку оно выходит за пределы естественного мира. Символы, в свою очередь, неизбежно связаны с мифами, в которых истолковывается тот или иной символ.

Основой такого подхода к языку послужила религиозно-философская традиция православного энергетизма. Речь идет о соотношении сущности и ее энергий или проявлений сущности, символа и энергии. Особенно отчетливо эта традиция проявилась в творчестве П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова. В соответствии с их философскими воззрениями духовная сущность мира и человека выражается через соответствующую символику, одним из наиболее ярких проявлений которой, является слово.

«Словом и через слово человек познает реальность, и слова есть сама реальность, словом высказываемая. Именно слово позволяет преодолеть оппозицию между субъектом и объектом, которая снимается в самом акте именования. Наименование бывает в один момент с познанием, и это уже первый момент вхождения в объективное» [5, 287–293].

П.А. Флоренский считал, что познание мира человек совершает через слово. Оно позволяет человеку выйти за пределы своей субъективности и соединиться с познаваемой реальностью. Он определяет познание как реальное выхождение познающего из себя, «как реальное единение познающего и познаваемого», которое осуществляется с помощью слова. Художественные образы, по мнению П.А. Флоренского, суть не что иное, как имена в развернутом виде, а все произведение – это, прежде всего, пространство силового поля соответствующих имен.

В западноевропейской философии XX века проблема языка и его сущности, его соотношения с вещью в том или ином виде представлена в работах Э. Гуссерля, Э. Кассирера, Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, Г. Гадамера, К. Ясперса и других зарубежных ученых.

Имеется ряд философских и социологических концепций связывающих процесс формирования личности с символами. Среди них особое место занимает концепция символического интеракционизма американского социолога Дж. Мида.

По мнению Дж. Мида, человеческий разум обладает уникальной способностью 1) использовать символы для обозначения объектов окружающей среды, 2) внутри себя вырабатывать варианты альтернативных действий по отношению к этим объектам и 3) отбрасывать неправильные линии действий и выбирать правильный курс открытых действий. Дж. Мид обозначает этот внутренний процесс использования символов или языка термином «репетиции в воображении» Это означает, что в его концепции разум выступает не как структура, а как *процесс*. Существование и устойчивость общества, по мнению Дж. Мида, зависит от способности людей «репетировать в воображении» линии действий по отношению друг к другу и таким образом выбирать модели поведения, облегчающие сотрудничество и адаптацию.

Основное внимание Дж. Мид уделяет не сложившемуся разуму человека, а его формированию. Способность использовать и интерпретировать конвенциональные жесты, имеющие общее значение, является, по его мнению, значительным шагом вперед в развитии разума, Я и общества. Воспринимая и интерпретируя жесты, человек, по его мнению, реализует способность «принимать роль другого», так как теперь он может принимать участие в перспективе тех, с кем он должен сотрудничать, для того, чтобы выжить. Способность поставить себя на место другого или «принять роль другого» повышает эффективность внутреннего проигрывания действия.

Обращаясь к анализу «Я», Дж. Мид полагал, что способность символически обозначать других «актеров» в окружающем мире и представить себя в виде объекта служит основой для самооценки, суждений о самом себе. Эта способность создавать образ самого себя в качестве объекта оценки в ходе взаимодействия определяется процессами, протекающими в разуме. По мнению Дж. Мида, существенной чертой данного процесса является то, что по мере взросления переходящие «образы собственного Я», полученные от других лиц, в каждой конкретной ситуации взаимодействия, в конце концов кристаллизуются в более или менее устойчивую «концепцию собственного Я» как определенного объекта. Дж. Мид полагает, что с появлением таких концепций собственного Я действия индивидов приобретают последовательный характер, поскольку они теперь опосредованы связным и стабильным комплексом установок, устремлений или значений относительно самого себя как определенного типа личности.

С точки зрения символического интеракционизма перед образованием в качестве главной задачи является не воздействие на учащегося как на объект управления с целью регуляции его поведения и деятельности, а формирование его личности в качестве субъекта этой деятельности и поведения. И определяющую роль в осуществлении этой задачи играет искусство и, в частности, художественная литература. Проблема духовности как основы субъективности, внутреннего духовного мира личности, ее самостоятельности и творческой активности в современной педагогической практике вытекает из самих естественнонаучных принципов педагогики, ее стремления предложить проверенную экспериментальную теоретическую модель или систему нравственного воспитания в новых социокультурных условиях. Само требование строить духовно-нравственное воспитание в соответствии с теоретической моделью и основанными на ней экспериментальными методиками несостоятельно в силу того, что духовное развитие происходит в соответствии со смыслами и ценностями культуры, имеющими основу в культурно-исторической практике, а не теории. Оно изначально практико-ориентировано, определено ценностно-нормативными и эмоционально-чувственными основами повседневной жизнедеятельности и чаще всего имеет форму не столько целенаправленного процесса воздействия извне, сколько бессознательного закрепления опыта, его норм через простое подражание и стереотипизацию мышления. И это особенно отчетливо проявляется в художественной литературе, как одном из видов искусства, которая имеет дело с текстом как формой субъективного выражения и проявления духовного мира человека, его ценностно-нормативной позиции, переживаний соответствующих культурных смыслов, которые нельзя просто отразить в сознании, а можно лишь понять, расшифровать, раскодировав языковые значения.

Познавая литературный текст, учащийся имеет дело не только с идейным замыслом писателя, но и его восприятием через призмы значений и смыслов своей повседневной культуры. Определяющее значение обретают здесь не сами по себе понятия, теория литературы, а создаваемые литературные образы и вызываемые ими настроения, чувства, субъективный мир соответствующих персонажей, вынужденное переживание читателем описываемых явлений как бы заново, вкладывая в них свой смысл, свое понимание.

Тем не менее, в большинстве концепций литературного образования не только в общеобразовательной школе, но и вузе это как раз и не учитывается. Ставка здесь по-прежнему делается лишь на возрастную психологию и теорию литературы. Те же концепции литературного образования, которые ориентированы на реальную существующую практику, особенности национальной культуры и соответствующие общественные отношения сталкиваются с непреодолимыми препятствиями их реализации в силу не разработанности педагогических принципов литературного образования, ориентированного на развитие духовности личности.

Таким образом, научный и литературный текст как основа познания выступает не просто в качестве технического средства передачи знания, выраженной в соответствующей знаковой системе, а – важнейший способ трансляции духовного опыта и средство формирования личности как субъекта национальной и общечеловеческой культуры. Современный кризис образования как кризис духовности во многом был предопределен широ-

ким распространением Интернета, сведением знания к информации и отрешением учащихся от научного и литературного текста и символической культуры в целом как способа переживания, осмысления и духовной идентификации существующей социальной реальности. Духовная культура в современной системе образования имеет тенденцию к снижению своего потенциала в деле формирования творческой личности студента, развитию его мировоззрения и предполагает смену классической рациональности постнеклассической рациональностью или рациональностью, имеющей ценностно-нормативную основу своего развития. А это, в свою очередь, предполагает переосмысление роли гуманитарной составляющей и символической формы выражения духовной культуры в системе университетского образования как важнейшей предпосылки формирования личности студента. Переживаемый сегодня кризис образования это, прежде всего, кризис духовных ценностей.

С точки зрения циклической парадигмы, возрастной кризис, кризис образования и всей общественной системы предстает как кризис, связанный с переоценкой ценностей. Смена этих ценностей и норм происходит через соответствующий цикл их переосмысления и идентификации, как в развитии бабочки от цикла гусеницы к циклу взрослого насекомого через кокон. Роль этого переходного периода или «кокона» и играет кризис. Одну возрастную категорию людей отличает от другой не только физиология и психология, как считает большинство представителей психолого-педагогической науки, но и те ценности и нормы, которые для них характерны. Символической формой выражения этих ценностей и норм и выступает текст и, в частности, литературный текст. Текст является основой существования и развития духовной культуры общества и важнейшей предпосылкой формирования личности студента в системе университетского образования. Его девальвация неизбежно оборачивается и девальвацией системы образования.

Литература

1. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986, – С. 473–500.
2. Калицкий, Э.М. Современная концепция профессионализма / Э.М. Калицкий, Н.Г. Гончарик // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – №10. – С. 19–26.
3. Сперанский, Н. Очерки истории народной школы в Западной Европе / Н. Сперанский. – М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1896. – 454 с.
4. Тойнби, А. Постигание Истории / А Тойнби. – М.: Прогресс, 1990.
5. Флоренский, П.А. У водоразделов мысли / П.А. Флоренский. – М.: Правда, 1990. – 448 с.

УДК 81'23 (045)

ТЕКСТ В СТИЛИСТИКЕ ВОСПРИЯТИЯ

Н.П. Мартысюк
(Минск, Беларусь)

Стилистика восприятия – это область лингвистического изучения эстетико-когнитивных процессов интерпретации вербального художественного текста как целостности на основе теории слова-символа. Стилистика восприятия выступает в качестве методологической основы изучения речемыслительных процессов, а текст – как герменевтическая реальность.

В центре внимания данной работы – стилистический аспект изучения семантики полученного сообщения на уровне восприятия как одного из механизмов речемыслительной деятельности человека (наряду с пониманием).

Своим зарождением стилистика восприятия (или стилистика декодирования, стилистика получателя речи, стилистика толкования) обязана практической необходимости в комплексной дисциплине, способной объединить важные стороны лингвостилистики, литературоведческой стилистики и методики преподавания как родного языка и литературы, так и иностранного языка и зарубежной литературы, «с целью формирования высокой культуры чтения» [1, 19].

Классическими в этой области считаются работы Л.В. Щербы. Исходя из собственного педагогического опыта Л.В. Щерба – основатель этой отрасли стилистики, видел потребность «привить сознательное знание в результате упорного чтения текстов под руководством опытного и умного преподавателя» [2, 98]. Не будучи сторонником формализма в литературоведении, он считал, что идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературного произведения [там же, 97] могут быть поняты только в свете определенной социальной и исторической обстановки, а также и в ряду «с предшественниками и сверстниками» этих произведений, но рассуждать о заключенных в них идеях, доволь-

ствуясь только интуицией, нельзя, так как эти идеи могут быть неправильно вычитаны из текста [там же].

Подчеркивая прикладной (лингводидактический) характер стилистики восприятия и акцентируя внимание на ее советских (отечественных) лингвистических началах, мы не можем обойти вниманием некоторые концептуальные вопросы, связанные с пониманием механизмов восприятия в модели «текст–читатель», которые объединяют стилистику восприятия и психолингвистику, стилистику восприятия и контекстную семантику.

Целью первоначальной стилистической теории, ориентированной только на читателя художественного произведения, являлось, по мнению М. Риффатера, описание природы и функции стиля, опосредованных «минимальным декодированием», которое, в свою очередь, обусловлено предсказуемостью языковых единиц в тексте [3, 417]. Для правильного понимания текста, продолжает автор, писатель должен использовать специфическую стратегию, определяемую как манера письма, «ограничивающая свободу восприятия в процессе декодирования» [там же] и которая, как следствие, сосредоточена на идентификации стилистических стимулов – языковых структур контекстуального контраста. В этом также заключается и функция стиля в коммуникации. Стиль, таким образом, закодирован писателем в тексте в соответствии с определенными требованиями литературной коммуникации, а роль читате-

ля в восприятии и оценке произведения хотя и подчеркивается, однако отходит на второстепенное место. Очевиден редукционизм данного подхода, который, с одной стороны, сводится к передаче текстом исключительно стилистического эффекта, закодированного в наблюдаемых структурных признаках текста, и имеет дело с источником различия между стилем и значением. С другой стороны, концепция правильного понимания, в том виде как его представил М. Риффатер, отвергая многообразное выдвижение текстом тех или иных смыслов, деперсонализирует прагматику получателя речи и тем самым упускает этимологию приобщения читателя к литературной коммуникации.

Позже, под воздействием критики Дж. Куллера, С. Фиша, Дж. Томпкинса, В. Гибсона и др. М. Риффатер реабилитирует фактор коммуникативной ситуации – читателя, и предложит пересмотреть те же самые данные, но под другим углом зрения – в перспективе всего акта коммуникации [4], а само восприятие (правильное понимание) он расценит как процесс преодоления трудностей при чтении текста [5, 318]. Декодирование в данном случае выступает как распознавание стилистической функции, возникающей на основе языковой структуры текста, где элементы всех уровней взаимодействуют как двусторонние единицы – формальные и содержательные – с учетом экспрессивной, эмоциональной и оценочной составляющих. Тем не менее вызывает некоторые сомнения трактовка восприятия как процесса преодоления трудностей при чтении текста. Конечно, некоторая специфичность процесса восприятия речи – то ли устной, то ли письменной – не может не быть частным случаем по отношению к восприятию как таковому. Однако отождествление восприятия с коммуникативной неудачей кажется неправомерным, хотя бы потому, что восприятие – это психологический феномен, а коммуникативная неудача – феномен исключительно языковой. Хотелось бы думать, что автор имел здесь в виду лингводидактический аспект восприятия, поскольку преодоление коммуникативных барьеров в процессе восприятия является одним из факторов правильного понимания, которое, в свою очередь, гарантирует научение вдумчивому прочтению текста.

Далее, в рамках этого нового подхода будет пересмотрен и взгляд на текст: это уже не «вещь в себе», – пишет С. Фиш, – а «событие, нечто происходящее с читателем при его участии в этом», и метод его анализа – это «анализ развивающихся реакций читателя на слова, как они следуют друг за другом во времени» [4, 72–74]. Таким образом, в центр внимания нового подхода ставится стремление отразить в стилистическом анализе текста всю динамику коммуникации, прочно увязав литературную коммуникацию и лингвистику с коммуникативной моделью языка. И хотя предложенная С. Фишем модель анализа восприятия-декодирования рассматривается как критерий нахождения стилистических черт полученного сообщения и чисто формально совпадает с психолингвистической моделью восприятия, объясняющей адекватность картины психологических процессов, связанных с использованием языка в процессе чтения, она, тем не

менее, не лишена недостатков. Общеизвестно, что адекватное восприятие сообщения не обязательно предполагает однозначное истолкование читателем авторской интенции и стиля изложения. Позиции автора и читателя могут не совпадать, несмотря на то, что реализация всех информационных потенциалов языковых единиц декодирована адекватно. Вполне вероятно, что для ожидаемого успешного декодирования информационных свойств текста существенными окажутся и некоторые экстралингвистические аспекты так называемой текстовой деятельности, например, уровень подготовки читателя, способность автора сообщения адекватно изложить его коммуникативную интенцию и др.

Приведенные выше трактовки соотношения «текст–читатель», конечно же, неполны и подлежат доработке для целей как лингвистического, так и литературно-стилистического анализа с точки зрения получателя сообщения. Так, Ю.С. Степанов в «Французской стилистике», выделяя социальную и эмоциональную типы информации как предмет внутренней стилистики языка, отводит большую роль в восприятии стиля подсознательному сравнению (интуиции) [6, 22–23]. Отсюда он выводит основной критерий нахождения стилистических черт – их действительное восприятие адресатом, а для верификации полученных результатов предлагает использовать лиц-информантов: живого слушающего человека и читателя художественного произведения. Анализируя такую постановку вопроса и способы его решения, ее автор приходит к выводу о зависимости степени адекватного восприятия смысловой информации от информативных свойств текста и фоновых знаний читателя. Любопытно, однако, что к такому же заключению приходит Т.М. Дридзе, проведя семиосоциопсихологический эксперимент [7].

Таким образом, рассматривая подход Ю.С. Степанова к восприятию, мы считаем важным его достоинством как акцентирование познавательных процессов, так и явный культурологический смысл всей этой стилистической теории. Иными словами, соотношение «текст–читатель» открывает возможности для развития познавательных способностей адресата, так как требует умения обрабатывать информацию, реагировать на нее адекватно, трансформировать полученное знание в некоторое новое понимание и производить апперцепцию идей. Поэтому прав был Л.В. Щерба, полагая, что умению интерпретировать смысловую информацию текста следует учить. Но прежде надо обучить общению как деятельности, т. е. умению оперировать языковыми конструкциями, вводя их в адекватные целям общения смысловые связи.

Итак, концепция восприятия в стилистике основывается на комплексном решении двух задач: задаче литературно-стилистического анализа, цель которого – изучение вопросов адекватности декодирования смысла текста адресатом, и задаче лингводидактической необходимости «научить читать так, чтобы эмоциональное и эстетическое восприятие взаимодействовало бы с получением лингвистической информации» [1, 3].

Литература

1. Арнольд, И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования): учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / И.В. Арнольд. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1990. – 300 с.
2. Щерба, Л.В. Избранные работы по русскому языку / Л.В. Щерба. – М. : Госуд. уч.-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1957. – 188 с.

3. Riffaterre, M. Criteria for Style Analysis Text / M. Riffaterre, C.A. Brook-Rose, L.T. Milic, and others // Essays on the Language of Literature / Eds. S.B. Chatman and S.R. Levin. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1967. – P. 412–430.
4. Reader-Response Criticism: from Formalism to Post-Structuralism / Ed. By Jane P. Tompkins. – Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1980. – XII, 275 p.
5. Riffaterre, M. The Stylistic Function / M. Riffaterre // Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists, Cambridge, Mass., August 27–31, 1962 / ed. HORACE G. LUNT. (Janua Linguarum Series Maior XII.) – The Hague : Mouton & Co., 1964. – P. 316–322.
6. Степанов, Ю.А. Французская стилистика (в сравнении с русской): Учеб. пособие / Ю.А. Степанов. – 5-е изд. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 360 с.
7. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т.М. Дридзе. – М. : Наука, 1984. – 268 с.

УДК 81'255.2

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

М.М. Мустафаева
(Баку, Азербайджан)

В последние десятилетия прошлого столетия и в настоящее время исследователи уделяют самое пристальное внимание связям языка и культуры народа. Антропоцентрическое понимание языка есть взаимосвязь языка и культуры. В статье рассматриваются лингвокультурологические проблемы перевода.

В наше время наиболее активное развитие получило лингвокультурологическое направление в языкознании, которое изучает языковые явления и исследует взаимосвязь языка и культуры. Национальная культура есть описание национального сознания. Национальное своеобразие обуславливается историко-культурологическими основами, менталитетом. Понятие «менталитет», непосредственно воздействующее на качество перевода, является одним из важных понятий современного антропоцентрического языкознания.

Для теории перевода важно то, что именно в языке находит отражение ментальность народа. В значении лексических и фразеологических единиц так или иначе представлена культурная традиция, однако эта представленность носит имплицитный, а не эксплицитный характер. Имплицитность манифестации культурной информации означает, что она не представлена в виде сем, образующих семантическую структуру языковой единицы. Даже в том случае, когда один из компонентов фразеологической единицы этимологически восходит к названию культурной реалии, нельзя говорить о непосредственной представленности культуры в значении языковой единицы. Например, фразеологизм *бесструнная балалайка* содержит такой компонент, как *балалайка*, являющийся названием национального музыкального инструмента. Значение фразеологизма определяется как «очень болтливый человек, пустомеля» [6, 32].

Еще В.А. Архангельский неоднократно отмечал, что фразеологическое значение носит комбинаторный характер [2, 42]. Это означает, что, несмотря на десемантизацию компонентов фразеологизма, их этимологические значения по-разному детерминируют фразеологическое значение. Каждое из них в какой-то степени представлено в структуре фразеологического значения. Что касается конкретно фразеологизма *бесструнная балалайка*, то можно сказать, что этимологические значения обоих компонентов так или иначе представлены в семантической структуре фразеологизма. Например, *балалайка* представлена как музыкальный инструмент. Само понятие «музыкальный инструмент» уже сигнализирует о продолжительности и непрерывности звукового звучания. Ведь музыкальный инструмент рассчитан на то, что на нем в течение какого-то

времени играют, и звуковой поток, производимый им, – музыку, нужно слушать.

Компонент *бесструнный* также участвует в образовании целостного фразеологического значения. Признак «отсутствие струн» есть экспрессивное указание на то, что этой балалайке для того, чтобы звучать, даже струны не нужны.

Второй из отмеченных признаков связан с потенциальным характером тех сем, которые ложатся в основу семантической структуры единицы вторичной номинации. Это характерно не только для фразеологической единицы, но и для метафоры [4]. Например, значение метафоры *лиса* определяется как «хитрый, лживый человек» [3, 327]. Основное номинативное значение этого слова определяется как «хищное млекопитающее семейства псовых с длинным пушистым хвостом, а также мех его» [3, 327].

Как видим, метафора *лиса* напрямую не связана ни с одной из сем, образующих основное номинативное значение лексемы *лиса*. Тем не менее само наличие в русском языке такой метафоры говорит о том, что в сознании русского человека, как и в коллективном сознании русского народа, образ лисы ассоциируется с хитростью, лживостью и коварством. Именно реальность таких ассоциаций позволяет лексеме *лиса* развить такое метафорическое значение, как «хитрый, лживый человек».

Таким образом, сема «хитрость» и сема «лживость» в семантической структуре лексемы *лиса* являются потенциальными семами, не участвующими в организации ее основного номинативного значения.

Именно таким же образом обстоит дело и с образованием значения фразеологизма *бесструнная балалайка*. Если исходить из этимологического значения компонентов фразеологизма, то соответствующие семы являются потенциальными, поэтому они и не находят отражения в словарных дефинициях.

Из проведенного анализа становится совершенно ясно, что фразеологизм *бесструнная балалайка*, как и любой другой фразеологизм, имеющий в своем составе название реалии культуры, на семном уровне не содержит непосредственного представления национальной ментальности. Однако на уровне образной основы фра-

зоологические единицы непосредственно ассоциируются с контекстом культуры.

В этой связи важно отметить еще один момент, связанный с национальной ментальностью. Дело в том, что система ассоциаций оказывается востребованной только в случае хорошего знакомства с реалией. Точнее говоря, речь должна идти даже не о востребованности, а о подсознательном соотношении названий реалий с определенной экспрессией. Так, при употреблении фразеологизма *бесструнная балалайка* в сознании как адресата, так и адресанта должна оживляться картина игры на балалайке, быстрой и виртуозной.

Наивная картина мира, характерная для менталитета того или иного народа, включает такого рода ассоциации. Поэтому она носит образный характер, а не рациональный [1]. Если использовать термины лексикологии, то в этой картине мира на переднем плане выпукло представлены денотативные компоненты лексического значения, а не сигнификативные. Что же касается фразеологических единиц или метафор, то в их употреблении и восприятии на передний план выходит коннотативный компонент. Что касается терминов *денотативный*, *сигнификативный* и *коннотативный*, то их понимание соответствует общепринятому употреблению, где *денотативный* соответствует типизированному представлению о предмете, названием которого является слово, *сигнификативный* – понятию, включающему основные признаки предметов, объединяющие их в единый класс, *коннотативный* – экспрессивным, эмоциональным, оценочным семам. Именно такое понимание этих терминов и соответствующих понятий встречаем у А.А. Уфимцевой [5, 88].

Еще одним важным понятием современной лингвистики, имеющим большое значение и для теории и практики перевода, является понятие «фоновой информации». Необходимо отметить, что понятие «фоновой информации» также является спорным, и не всегда под термином *фоновая информация* понимается одно и то же.

Термин *фоновая информация* можно понимать в соответствии со значением слова *фон*. Значение лексемы *фон* определяется следующим образом: «ФОН 1. Основной цвет, тон, на к-ром пишется картина, рисуется, изображается что-н. 2. Задний план картины, а также вообще задний план чего-н., то, на чем что-н. видится, выделяется. 3. перен. Общее условие, обстановка, в к-рой что-н. происходит, окружение (книжн.)» [3, 852].

В содержании термина *фоновая информация* можно выделить семы по второму и третьему значениям слова *фон*. Например, по второму значению актуальна сема «задний план», по третьему – «общие условия» и «обстановка». Сема «задний план» актуализирует скрытость фоновой информации, ее неочевидность. Сема «общие условия» позволяет связать фоновую информацию с необходимыми для глубокого понимания текста экстралингвистическими условиями.

Действительно, иногда совершенно необходимым для понимания текста оказывается знание содержания хотя бы некоторых культурных реалий. Чаще всего такая необходимость проявляется при анализе и понимании исторических текстов, или текстов, представляющих чужую для нас культуру. В таких случаях одного только знания лексического значения оказывается недостаточно. Необходимо знание культурной ситуации, сопровождающей данные языковые единицы. Понятно, что в этой ситуации система автоматического перевода обречена на провал. Как указывал Е.А. Найда, «сказать, что слово имеет значение «до свидания» относительно бесполезно, если мы не знаем, при каких обстоятельствах это произносится: в какое время дня или ночи, на какой срок предполагается расставание, с какого рода людьми, до или после других слов прощания, в сочетании с какими жестами, интонацией, голосовыми данными и т. д.» [7, 47]. Действительно, значения языковой единицы, зафиксированного в словарях, часто оказывается недостаточно для понимания смысла текста. В соответствии с этим под фоновой информацией понимают тот необходимый объем информации, достаточный для понимания значения слова или фразеологизма в тексте и содержания текста в целом.

Таким образом, можно отметить, что для теории и практики перевода в настоящее время актуальны все понятия как системно-структурного, так и антропоцентрического языкознания. Антропоцентрическое понимание языка ориентирует теорию и практику перевода на выявление национально-культурного содержания текста, единиц, выступающих носителями культурного, исторического, социально-политического, этнографического содержания. Антропоцентрическое языкознание вооружает перевод знаниями о национально-культурных стереотипах, без учета которых точный перевод просто невозможен.

Антропоцентрическое понимание сущности художественного текста ориентирует переводчика на обнаружение национально-культурных эталонов и символов, которые непосредственно не представлены в тексте оригинала, но которые обязательно должны учитываться при переводе.

Литература

1. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с.
2. Жуков, В.П. Русская фразеология / В.П. Жуков. – М.: Высшая школа, 1986. – 310 с.
3. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1990. – 917 с.
4. Ортони, Э. Роль сходства в уподоблении и метафоре / Э. Ортони // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 219–235.
5. Уфимцева, А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики / А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 1986. – 240 с.
6. Фразеологический словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1986. – 543 с.
7. Этнопсихоллингвистика. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

К ОСМЫСЛЕНИЮ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Р.М. Новрузов
(Баку, Азербайджан)

Статья посвящена рассмотрению герменевтических приёмов в религиозных традициях. Исследование подтверждает, что вне зависимости от отнесённости религий в аспекте толкования сакральных текстов, герметические приёмы для всех традиций являются универсальными.

История рассмотрения сакральных текстов различных религиозных традиций выдвигает весьма интересные типы их толкования. В настоящей работе делается попытка выявить эти типы и определить их смысл и философию.

Благодаря эзотерической литературе, известно, что символический смысл относительно сотворения мира и происхождения человека имеет ключ раскрытия, начиная с египетской науки вплоть до Книги Бытия. Вот как видится этот ключ в представлении Эдуарда Шюре: «1) в египетской символической; 2) в символах всех религий древнего цикла; 3) в синтезе учений посвященных, который получается из сопоставления эзотерических учений, начиная с ведической Индии и до христианских посвященных первых веков нашей эры включительно» [1, 146]. Ученый, несомненно, прав, потому что божественная истина при «подборе» одного из этих ключей довольно-таки ясно проступает, подтверждая неизменность законов вселенной. Продолжая свои рассуждения, он отмечает, что греческие авторы указывали на владение египетскими жрецами тремя способами объяснения мысли: «Первый способ был **ясный** и простой, второй **символический** и образный, третий **священный** и иероглифический» [1, 146]. Кстати, то же самое, то есть разные формы письма соответствовали разным формам общественной жизни и разным предметам, указывает Порфирий в своем рассказе о Пифагоре, который проходил посвящение у жрецов Египта.

Из сказанного следует, что в зависимости от формы текста необходим был и подход к нему со стороны воспринимающего для соответствующего его понимания. Безусловно, что теософические и космогонические тексты требовали к себе применения третьего способа понимания, — священного и иероглифического, — подразумевающего три смысла. Загадочность этих способов заключалась в том, что они соответствовали друг другу и одновременно были различными; два последних способа не могли быть поняты без ключа. Все это поддерживалось основным положением толкования священных текстов, гласившего, что **миром естественным, миром человеческим и миром божественным управляет один закон**. Итак, такой текст, вряд ли, был доступен для толпы. Его должным образом только мог понять Адепт, видящий божественные эманации во всем окружающем мире и, таким образом, постигающий начало, причину и последствия.

У специалистов не вызывает сомнения, что Моисей, владеющий герменевтическими знаниями, использовал в своей Книге Бытия иероглифический способ письма с вытекающими тремя смыслами, передав их устно преемникам. В дальнейшем универсальные ключи к пониманию текстов были потеряны. Сошлёмся вновь на Эдуарда Шюре: «Когда же, во времена Соломона, Книга Бытия была переведена на язык финикийский, когда, после плена вавилонского, Ездра переписывал ее ара-

мейско-халдейскими письменами, еврейское священство владело этими ключами уже очень не совершенно. Когда же очередь дошла до греческих переводчиков Библии, последние имели лишь очень слабое понятие об эзотерическом смысле переводимых текстов. Св. Иероним, несмотря на свои серьезные намерения и большой ум, не мог уже, делая свой латинский перевод с греческого текста, проникнуть до первобытного смысла Библии, а если бы даже и мог, условия времени заставили бы его молчать» [4, 147].

Здесь же не помешало бы вкратце остановиться на заимствованном иудеями (и не только) термина «парадайза» (авест. **PARIDAIZA**), означающегося буквально в переводе с авестийского «*отгороженный*». Смысл слова раскрывает сакральность его и, на наш взгляд, открывает внутренний, духовный его облик, закрытый для людей далеких от них, живущих исключительно земными желаниями, животными инстинктами. Известный ученый-теолог в области современного систематического комментария к Библии, поэт и переводчик Д. Щедровицкий отмечает: «Следует нам коротко остановиться и на традиционном подходе к осмыслению Священного Писания. Согласно одному древнему изречению, «у Торы семьдесят лиц». Это значит, что каждый библейский стих имеет 70 (!) уровней интерпретации. Из них наиболее традиционные – четыре, обозначаемые четырьмя древнееврейскими словами: «пшат» – «простой смысл», буквальное толкование; «ремез» – «скрытый намек», иносказательное объяснение, часто относящееся к области психологии, внутреннего мира человека; «друш» – «изыскание», толкование аллегорического, указывающее на прозрения будущих событий или духовных реалий, скрытых за завесой простого повествования; наконец «сод» – «тайна», имеется в виду таинство Божественной, высшей жизни, «просвечивающей» сквозь данный стих и доступное восприятию лишь особо одаренных – духовных – людей. Эти четыре слова образуют аббревиатуру <Пардес>, что означает «райский сад» мудрости (слово заимствовано из древнеперсидского, авестийского языка; ср., например, с английским *paradise*, немецким *Paradies* и т. д.)» [2, 22]. Если следовать законам формальной логики, то из сказанного ученым становится ясным, что на основе первых букв заимствованного авестийского слова был составлена иудейская методика («*нотарикон*») толкования сакрального текста. Заметим, что исследователь не скрывает источник заимствования, да по-другому и не может быть потому, что данный факт зафиксирован и в «Еврейской Энциклопедии» в статье, посвященной известному толкователю Библии в XV веке Бахия Бен-Ашеру (СПб., Т.3, 1908, с. 917). Однако возникает другой вопрос: насколько является оправданным выводить аббревиатуру из другого священного языка? В таком случае, существует четкая связь в тайнах священных языков. Тогда, мы однозначно не можем принять мнение Д. Щедровицкого о том, что «от исповедания чистого Монотеизма (в отличие от языческого политеизма, зороастрийского дуализма и т. п.) и до сверхразумно-

го, духовного постижения того, что весь мир существует в Боге, – и, следовательно, с точки зрения наивысшей реальности, вне и кроме Бога нет ничего». К этим двум уровням ученый-теолог приходит после толкования текста – «И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. (Быт. 32, 30) – «следующие два (в переводе – три) слова призывают осознать, что Вечносущий имеет ближайшее отношение к нам, людям: Он – Бог наш». Да, всемогущий и непостижимый Бог – <Элогим>, Творец и Промыслитель вселенной, в то же время является нашим «личным» Богом. Такое одновременное ощущение трансцендентности и имманентности Божества приобретает только через личный молитвенный опыт» [4, 325].

Обратим внимание на мысли известного исследователя исламской философии Анри Корбена: «Ограничимся несколькими текстами, содержащими учение шиитских имамов, которые позволят нам понять взаимопроникновение коранической герменевтики и философского размышления. Например, утверждением 6-го Имама Джафара Садыка (ум. 148/765 г.): «Божья Книга подразумевает четыре толкования: существует буквальный смысл (ишарат); есть аллюзивное значение (ибарат); существуют тайные смыслы, относящиеся к миру сверхчувственного (латаиф); имеются высокие духовные доктрины (хакаик). Буквальный смысл предназначен для всей общины правоверных (авам). Аллюзивное значение касается элиты (хавасс). Тайные смыслы доступны Друзьям Бога (Авлийа). Высокие духовные доктрины могут быть познаны лишь пророками (анбийа, мн. ч. от наби)». Или согласно другому объяснению:

Литература

1. Шюре, Э. Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий / Э. Шюре. – Калуга, 1914. – 419 с.
2. Зелигман, К. История магии и оккультизма / К. Зелигман; пер. с англ. А. Блейз. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. – 480 с.
3. Корбен, А. История исламской философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: royallib.com/book/korben_angri/istoriya_islamskoy_filosofii.html.
4. Щедровицкий, Д. Введение в Ветхий Завет / Д. Щедровицкий. – Т. 1: Книга Левит, Чисел и Второзакония. – М.: Тервинф, 1994. – 228 с.

УДК 81'23

ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ И ЯЗЫКОВОЕ ПОДСОЗНАНИЕ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.В. Пузырёв
(Москва, Россия)

В статье уточняется содержание понятий «языковое сознание» и «языковое подсознание», анализируется ряд психолингвистических проблем, связанных с данными феноменами. Делается вывод о том, что собственно языковое сознание – перспективная и недостаточно изученная область психолингвистических исследований.

Под понятием «языковое сознание» обычно понимаются «образы сознания, овнешняемые языковыми средствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей. Образы языкового сознания интегрируют в себе умственные знания, формируемые самим субъектом преимущественно в ходе речевого общения, и чувственные знания, возникающие в сознании в результате переработки перцептивных данных, полученных от органов чувств в предметной деятельности» [9, 3].

Поддерживая необходимость психолингвистического исследования овнешняемых языковыми средствами психических образов, вместе с тем отметим, что понятие

буквальный смысл постигается прослушиванием; аллюзия – духовным пониманием; тайные смыслы – благочестивым созерцанием; высокие доктрины ведут к интегральной реализации Ислама». И далее он добавляет: «Эти постулаты перекликаются со словами 1-го Имама Али ибн Аби Талиба (ум. 660 г.): «Не существует ни одного стиха в Коране, который не имел бы 4-х смыслов: экзотерического (захир), эзотерического (батин), предельного (хадд), относящегося к божественному замыслу (моттала). Экзотерический – для пересказа; эзотерический – для внутреннего понимания; предельный объявляет о дозволенном и недозволенном; божественный замысел – это то, что Аллах предполагает реализовать в человеке посредством каждого стиха... Эти четыре смысла равны по количеству упомянутым выше католическим. Однако они несут в себе другую нагрузку: смысловое различие является производным от человеческой духовной иерархии, уровни которой обусловлены внутренними способностями» [3].

Таким образом, мы наблюдаем, что как в древних учениях, так и в христианстве и Исламе толкование строится на двух подходах – экзотерическом и эзотерическом, составляющих четыре смысла, основанных на внешнем, буквальном и внутреннем, духовном. К сожалению, рамки статьи не позволяют более подробно раскрыть каждое из них в указанных традициях. Однако одно является безусловным, что все религиозные традиции опираются на одни и те же постулаты.

«сознание» в обычно используемом словосочетании «языковое сознание» теряет свою возможность противопоставляться понятию «языковое подсознание». Если же помнить, что львиная доля психических процессов падает именно на подсознание (своего рода психологический топик), то учёт оппозиции сознание/подсознание представляется более чем настоятельным.

В определении языкового сознания следует, по нашему мнению, ориентироваться на психологические представления, где под сознанием, в частности, понимается «открывающаяся субъекту картина мира, в которую включён и он сам, его действия и состояния» [6, 166], «особый психический процесс, в результате которого в психике человека (то есть в множестве субъективных

образов) образуется особый образ – образ "Я"» [3, 252 и др.]. Такое представление о сознании, где в знание субъекта о мире включается и знание о собственном существовании, о существовании собственного «Я», вполне соответствует внутренней форме термина – «со-знание», «совместное знание» (знание субъекта об окружающем мире совмещается с его знанием о существовании в этом мире его самого как носителя психики, его «Я»).

Если базироваться на указанных психологических основаниях, то под языковым сознанием следует понимать выраженное в языке-речи знание субъекта об окружающем мире, совмещённое с его знанием о существовании в этом мире его самого, его «Я». Как известно из возрастной психологии, человек как личность рождается дважды. Первый раз как личность он рождается тогда, когда в его речи появляется местоимение *я*, связанное с формированием внутреннего образа «Я». Тогда, строго говоря, и рождается языковое сознание. Что касается выраженных в языке-речи ментальных образов, «формируемых субъектом преимущественно в ходе речевого общения, и чувственных знаний, возникающих в результате переработки перцептивных данных, полученных от органов чувств в предметной деятельности», но при этом не совмещённых со знанием о существовании-бытии в этом мире самого субъекта как отдельного «Я» или не актуализировавших это совместное знание, то к таким, репрезентированным в языке-речи ментальным образам и чувственным знаниям в большей степени относится понятие *языкового подсознания*.

О необходимости различения понятий *языковое сознание* и *языковое подсознание* мы уже писали [7, 244-246]). О диалектике взаимоотношения сознательного и бессознательного психического в указанном плане, на наш взгляд, убедительно говорится в известной статье Р.О. Якобсона [12].

Заметим, что предлагаемое разграничение языково-речевых феноменов языкового сознания и языкового подсознания имеет одним из своих оснований внутреннюю форму обозначения самой науки – «психолингвистика» (психо- 'душа' + лингвистика, т. е. буквально 'лингвистика души', т. е. 'лингвистика подсознания', наука, исследующая языковое овнешнение подсознания). В принятой нами логике разграничения языкового сознания и языкового подсознания психолингвисты чаще всего сосредоточены на изучении именно языкового подсознания.

Какие именно известные (психо-)лингвистические проблемы следует иметь в виду, когда мы обращаемся к проблематике языкового сознания? Заметим попутно, что в рамках настоящей статьи эти проблемы мы можем только обозначить. В самом общем плане, к проблематике языкового сознания должны быть отнесены исследования *я- и мы-высказываний*.

Во-первых, к таким известным в лингвистике проблемам следует отнести исследование перформативов, т. е. слов или высказываний, равноценных какому-либо поведенческому акту (действию, поступку).

Как известно, перформативы:

- 1) равнозначны действию: *благодарю, клянусь, приветствую, настаиваю, прошу прощения, обещаю* и т. д.;
- 2) лишены признака истинности/ложности, так как попросту «действительны»;
- 3) автореферентны, поскольку эти глаголы отсылают говорящего к самому себе (через его «Я»);
- 4) совпадают с моментом речи;
- 5) характеризуются модальностью реальности;
- 6) соответствуют социально принятым отношениям, некоторому церемониалу, этикету;
- 7) существуют лишь в момент произнесения, поэтому невоспроизводимы;
- 8) обычно используются в форме глагола 1-го лица, единственного числа, настоящего времени, изъявительного наклонения, действительного залога [8], [10] и др.

Во-вторых, к такого рода проблемам следует отнести пока менее популярную, но не менее интересную проблему языково-речевого выражения оптимистичности/пессимистичности языковой личности. Нами была предложена и в работах наших учеников уточнена и использована методика определения степени выраженности оптимизма/пессимизма в речи говорящего (см.: [1], [4], [5] и др.). Отметим попутно, что в базовых своих позициях относительно проблемы речевого выражения оптимизма/пессимизма языковой личности мы опираемся на известное исследование М. Э. П. Зелигмана [2].

В качестве иллюстрации указанной методики приведём один из примеров анализа конкретных высказываний:

«Я никогда толком не умел объяснять, зачем делаю то, что делаю» [11, 37].

В данном высказывании присутствует *негативная* оценка конкретной языковой личностью конкретных явлений в её жизни.

Параметр постоянства. В данном высказывании негативная оценка носит постоянный характер: на это указывает наречие «никогда», а грамматическим показателем неограниченного характера действия является глагол несовершенного вида «объяснять» (-1).

Параметр широты. Негативная оценка, выраженная конкретной личностью, носит повсеместный, не ограниченный в пространстве характер (-1).

Параметр персонализации. Человек возлагает ответственность за негативное явление в своей жизни на самого себя (-1).

В результате можем утверждать, что приведённое личностью высказывание демонстрирует её ярко выраженный пессимизм (-3).

К случаям проявления языкового сознания, в-третьих, следует относить различные способы вербализации говорящим своей субъективной оценки той реальности, в которой он оказался. В этой группе примеров речевой материал, вероятней всего, продемонстрирует различную степень выраженности языкового сознания. К наиболее ярким примерам будут относиться различные высказывания с местоимениями *я, мы, мой, твой, наш, ваши* и т. п.

Для нас несомненно, что проблематика собственно языкового сознания – это чрезвычайно интересная, перспективная и недостаточно изученная область психолингвистических исследований.

Литература

1. Байшева, С.А. Речевое выражение оптимизма и пессимизма в дневниках Л.Н. Толстого (1853, 1910 годы) // *Язык и мышление: Психологический и лингвистический аспекты. Материалы 5-ой Всероссийской научной конференции (Пенза, 11–14 мая 2005 г.)* / Отв. ред. проф. А.В. Пузырёв. – М.; Пенза: Институт языкознания РАН; ПГПУ имени В.Г. Белинского; Администрация г. Пензы, 2005. – С. 146–151.

2. Зелигман, М. Э. П. Как научиться оптимизму: Советы на каждый день / М. Э. П. Зелигман. – М.: Вече, 1997. – 432 с. (Self-Help).
3. Корниенко, А.Ф. Психика и сознание: возникновение и развитие / А.Ф. Корниенко. – Казань: Изд-во «Печать-Сервис-XXI век», 2010. – 374 с.
4. Котова, Ю.В. Языковые аспекты классификации оптимистичных/пессимистичных высказываний / Ю.В. Котова // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. – Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2012. – № 28 (282). – С. 91–94.
5. Котова, Ю.В. Актуальность изучения языкового выражения оптимизма/пессимизма для теории языка / Ю.В. Котова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Филология. – СПб: Изд-во ЛГУ, 2013. – № 4. – Том 1. – С. 114–120.
6. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 2000.
7. Пузырёв, А.В. Анаграммы Ф. де Соссюра: языковое сознание, языковое подсознание и языковая личность // Психолингвистика и межкультурное взаимопонимание: Тезисы докладов X Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации (Москва, 3–6 июня 1991 года). – М., 1991. – С. 244–246.
8. Сусов, И.П. Лингвистическая прагматика: Учебник для студентов, магистрантов и аспирантов (докторантов) / И.П. Сусов. – М.: Восток-Запад, 2006. – 200 с.
9. Тарасов Е.Ф. Языковое сознание – перспективы исследования: (предисловие) // Языковое сознание: содержание и функционирование. XIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации: Тезисы докладов (Москва, 1–3 июня 2000 г.). – М., 2000. – С. 3–4.
10. Тумина, Л.Е. Перформатив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ped_recheved.academic.ru. – Дата доступа: 16.03.2015.
11. Харрис, Э. Правила жизни / Э. Харрис // Эскайр. – 2012. – №3 (2012). – С. 35–37.
12. Якобсон, Р.О. К языковедческой проблематике сознания и бессознательности / Р.О. Якобсон // Бессознательное: Природа, функции, методы исследования. – Тбилиси: Мецниереба, 1978. – Т. 3. – С. 156–167.

УДК 378.4

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В.Ф. Русецкий
(Минск, Беларусь)

Статья посвящена роли и месту гуманитарного образования в условиях становления и развития информационного общества с учётом его основных характеристик и противоречий. Делается вывод о содержании гуманитарного образования в условиях информационного общества.

Информационное общество выдвигает перед современным человеком ряд требований, которые связаны не только с умениями по использованию информационно-коммуникационных средств, но также и с приемами поиска и сбора информации, отбора и обработки выявленных источников, определения перечня наиболее значимых из них для решения поставленной задачи. Одним из глобальных противоречий современного общества, оказывающим особое влияние на развитие и функционирование системы образования, является противоречие между реальными условиями деятельности современного человека и устоявшимися веками образовательными технологиями.

Изменения характерны и для сферы педагогической науки, которая в начале XXI века переживает существенную трансформацию, проявляющуюся в смене образовательных парадигм, ценностных ориентаций. Меняются не только содержание образования, но и его роль в современном мире, отношение к нему социума; смещаются ценностные акценты образовательного процесса. Образование в условиях информационного общества должно готовить человека не к осуществлению профессиональной деятельности в узкой сфере, а обеспечивать ему быструю адаптацию к постоянно меняющимся условиям. Должен быть выработан необходимый минимум знаний и умений, способов деятельности, позволяющий человеку эффективно социализироваться в обществе.

В качестве важнейших составляющих эффективного развития современного общества исследователи называют развитие фундаментальных научных исследований и высокий уровень массового образования. Ни то ни другое невозможно без развития гуманитарных наук и

искусств. И дело здесь не в особенностях развития общества или его конкретного исторического этапа, а в самой природе человека. Никакие технологии не могут удовлетворить потребности человека; более того, предпосылкой разработки любых технологий является развитие человека, в котором определяющую роль играет то, что называют гуманитарным образованием. Таким образом, гуманитарное образование оказывается одним из значимых и эффективных средств регулирования общественной жизни.

Еще одним следствием специфики информационного общества является децентрализация и доступность информации. Для системы образования это стало переломным этапом, поскольку школа перестала быть единственным или главным источником образовательной информации. Это коренным образом меняет социальную роль школы, выдвигая в ряд первоочередных задач воспитание и развитие, а не передачу суммы информации.

Наука об образовании в условиях информационного общества не может быть изолированным («кабинетным») элементом; она не может принадлежать «государству» или «обществу», а, как и вся наука в целом, должна превращаться в непосредственную производительную силу. Инновационность есть единственный путь развития педагогики, которая должна существовать и развиваться как наука о реальном образовательном процессе, разрабатывать средства и технологии этого процесса, которые в рамках «образовательных парков» должны проходить путь от идеи до реального применения в образовательном процессе. Строго говоря, человечество давно изобрело такой «образовательный парк», дав ему имя университет.

Перечисленные выше особенности развития информационного общества и выявленные проблемы, стоящие перед педагогической наукой и образовательной практикой, позволяют сформулировать следующие задачи развития гуманитарного образования в условиях информационного общества.

С научной точки зрения проблемами, требующими осмысления и решения в педагогике, являются следующие: изменение личностных характеристик в информационном обществе; развитие личности как permanently актуальная проблема педагогики и главная задача образования; креативность как ведущее качество личности; несовпадение личностных, общественных и государственных ценностей, приоритетов, мотивов и целей в области образования.

В научном плане это связано с необходимостью вычлечения не просто новых или актуальных знаний и умений, но таких, которые носят универсальный характер и обеспечивают готовность личности к эффективной профессиональной деятельности в современном обществе.

В связи со сказанным научное знание должно разрешить следующую дилемму. С одной стороны, образование должно использовать все возможности, представляемые современными технологиями. С другой – учитывая культурное и образовательное значение письменной формы коммуникации («книжной культуры»), включая и культуру книги), образование должно способствовать ее сохранению и дальнейшему развитию.

Научной проблемой в этой связи является разработка теоретических оснований образовательного процесса с использованием новых информационно-коммуникационных технологий и разработка средств обучения на их основе.

Основная проблема заключается не в определении единственно верных принципов отбора содержания образования и выработки определенных технологий, а в необходимости разработки технологической цепочки инноваций, от возникновения образовательной идеи до обучения учителей работать по новой методике или технологии и получение желаемого образовательного результата.

Среди важнейших следствий данной особенности информационного общества укажем на формирование информационного пространства, в котором особое место занимает система образования. Образовательное пространство должно стать сегментом информационного пространства, а образование должно подготовить человека к жизни в условиях такого пространства. Информационное пространство носит глобальный характер, в силу чего национальные системы образования утрачивают изолированный характер, поскольку люди стремятся к получению образования мирового уровня.

Задача педагогической науки – осмысление специфики образования в динамичном обществе, выявление динамики ценностей, целей, мотивов, потребностей, установок и др. Ключевыми следствиями рассматриваемой особенности информационного общества является формирование специфического континуума, складывающегося из «пространства потоков» и «вневременного времени».

Растущая конвергенция конкретных технологий в высокоинтегрированной системе предопределяет в качестве важной задачи научную разработку всех аспектов функциональной интегративности отдельных учебных предметов и образовательных областей.

В содержании образования должно быть представлено то из соответствующей отрасли науки, что не просто дает целостное, системное, доступное и непротиворечивое представление об основных достижениях конкретной области знания в настоящее время, но обеспечивает формирование необходимых качеств личности. В условиях информационного общества образование должно в полной мере развивать интеллектуальный, креативный потенциал личности, чему в значительной степени способствуют предметы гуманитарного и социокультурного образования, создающие основу для всестороннего развития личности, формирования ее готовности к эффективной деятельности в постоянно изменяющихся условиях, принятию оправданных решений на основе правильной постановки задач, сбора и анализа информации, интерпретации полученных результатов.

УДК 37.013

ТЕКСТ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ МАРИИ МОНТЕССОРИ

М.В. Салеева
(Минск, Беларусь)

В тексте рассматривается проблемное поле и научные основания педагогических текстов итальянского исследователя первой половины XX века Марии Монтессори.

Для понимания идей М. Монтессори необходимо учитывать особенности ее научной подготовки как медика, биолога, но еще в большей степени исследователя в области естественных наук. Изначально Монтессори поступает на факультет биологии и естественных наук Университета Ла Сапьянца, где изучает ботанику, зоологию, экспериментальную физику, сравнительную анатомию, физиологию, химию. После второго курса она переводится на медицинский факультет, который и заканчивает в 1896 году, защитив работу по клинической психиатрии.

Это был период серьезных научных открытий в области генетики, эмбриологии, биологии, которые и

вдохновили молодую исследовательницу на разработку собственной педагогической системы.

Мария Монтессона подходит к обоснованию своего метода научной педагогики с точки зрения практического исследователя. Она сформулировала основные положения «Научной педагогики» в отдельном труде, опубликованном в 1908 году и нашедшем практическое применение в Домах ребенка – институтах, основанных в Италии и получивших распространение по всему миру: «Каждое направление практического исследования опирается на собственный метод. Бактериология имеет в основе научный метод изолирования и культуральный; антропология криминальная, медицинская и педагогическая опираются

на антропометрические методы для индивидуумов разных категорий, таких как преступники, сумасшедшие, пациенты клиник и школьники. Экспериментальная психология требует в качестве отправной точки точного определения техники эксперимента. Очень важно определить метод, технику и получить результат, полностью вытекающий из опыта» [1, 26].

Основной метод педагогики Марии Монтессори, напрямую связанный с ее научными исследованиями в Сан Лоренцо в 1907 году, когда стали появляться первые Дома ребенка, – это метод наблюдения за поведением ребенка. Наблюдения продолжительного, повторяющегося, задокументированного, которое ведется в обстановке все более организованной, подстраиваемой под нужды ребенка. «Воспитание принимает жизнь как свою центральную функцию, изменяет все предыдущие педагогические идеи. Оно не должно более основываться на определенной программе, но на знании жизни» [1, 12].

Идеи Монтессори очень быстро получили распространение по всему миру, а первый труд «Научная педагогика» в 1912-13 годах был переведен на основные европейские языки (английский, французский, немецкий), а так же на польский, русский, а в 1914-15 и на японский, румынский, ирландский, испанский, голландский и в последующее десятилетие был опубликован в 58 странах и переведен на 36 языков [2].

Исследовательница научного наследия Марии Монтессори Паола Тралабини, профессор истории воспитания Университета Ла Сапьянца, Рим, рассматривая роль педагога в методике Монтессори утверждает, что «он (педагог) должен объединять в себе сухого ученого

и живого наблюдателя среды обитания ребенка и быть терпеливым и внимательным слушателем. Потому что, согласно Монтессори, в новой, выстроенной под нужды ребенка среде, наблюдателю открывается «новый ребенок» – умеющий и знающий, которым движет чудесный инстинкт наблюдать и узнавать и активно адаптироваться к той среде, которая его окружает» [3].

Педагог в открытой системе М. Монтессори не ведет ребенка, но сам следует за ним, выстраивая вокруг него среду, стимулирующую к развитию. «Она должна стать «сторожем и хранительницей атмосферы», должна быть завлекательной и уметь привлечь ребёнка; но как только ребенок сконцентрировался, она должна сделать так, чтобы ребёнок не замечал её присутствия» [1, 179].

Вера в возможности детского мозга характеризует все педагогическое наследие Монтессори, которая, представляя в 1950 году свою работу «Ребенок как открытие», сказала в заключении: «...наша работа, это скорее результат наблюдений, чем создание нового метода в воспитании... Времена изменились, наука ушла далеко вперед, как и наши исследования, но основные наши принципы лишь получили подтверждение, как подтвердилось и наше убеждение: человечество может надеется на разрешение своих проблем только в том случае, если обратит внимание и направит силы на раскрытие потенциала ребенка и на развитие огромных возможностей человеческой личности...» [4, 76]. Нам кажется, что в современной ситуации в воспитании и образовании данный подход все еще очень актуален.

Литература

1. Пятое издание работы М. Монтессори «Научная педагогика как метод детского воспитания» вышла под названием «Ребенок как открытие» в издательстве Гарцанти в 1950 году (в русском переводе «Дети – другие»). Далее цит. по этому изданию (перевод наш): Montessori, M. La scoperta del bambino / M. Montessori. – V edizione, Garzanti, 1950.
2. De Giorgi, F. Montessori Maria Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 76 (2012) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.treccani.it/enciclopedia/maria-montessori_%28Dizionario-Biografico%29. – Дата доступа: 03.03.2015.
3. Tralabini, Paola. Origine e fondamenti della ricerca scientifica di Maria Montessori [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.paedagogica.org/doc/tralabini.pdf. – Дата доступа: 03.03.2015.
4. Regni, R. Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell'uomo / R Regni. – Roma: Armando, 2007. – 304 p.

УДК 801.73

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК КОНЦЕНТРАТ ДУХОВНОСТИ ЭТНОСА

В.А. Салеев
(Минск, Беларусь)

В работе на фоне анализа эволюции художественной литературы как специфического вида искусства обосновывается идея глубинной связи поэзии с духовным обликом этноса (народа).

Художественная литература, с философско-эстетической точки зрения, являет собой весьма специфичный, своеобразный вид искусства, который строится на словесном (литературном) образе. Художественный образ в литературе основывается на слове, потоке речи, нюансах смыслов, порожденных сочетаниями слов, строе фраз; в конечном итоге – на всем богатстве и неизмеримых возможностях национального языка. Последними столетиями накапливает разнообразный духовный опыт народа (этноса), выражает его миропонимание и мироощущение, сохраняет в себе и опыт социально-исторического развития нации.

На долгом пути своего становления художественная литература пережила многочисленные трансформации.

В первые тысячелетия своего существования она выступала в качестве основного мировоззренческого и мирозерцательного инструмента, носителя разнообразного (главным образом, чувственного) опыта, накопленного тем или иным этносом или суперэтносом (достаточно сослаться на знаменитые архаические эпосы – «О Гильгамеше, все выдавшем», индийские «Махабхарату» и «Рамаяну», древнегреческую гомеровскую «Илиаду» и др.

С течением времени сфера предмета литературы не сужается, напротив, она приобретает тенденцию к расширению; кроме глобалистики эпоса, катаклизмов в изменении жизни народов, она обнаруживает и стремление к проникновению в глубины духовного мира отдельно

взятого человека, к живописанию его чувств, оттенков его настроения, интонации его голоса

Слово, в том числе и художественное слово, проходит многовековую обработку в среде носителей языка.

В развитом языке слово – основной создающий компонент литературного образа – изначально несет в себе элементы образности.

Художественная литература, по своей природе, в состоянии превращать в предмет изображения как картину реального мира, окружающего человека, так и его ощущения, чувствования, поток его сознания и его мышления, процессы духовного общения между людьми.

Мир художественного слова разнообразен, многозначен и достаточно специфичен.

Еще в античности Аристотель сумел представить качественную классификацию литературы (разделив ее на «роды и виды»), которая, с известными коррекциями, работает и в наше время. Так, мыслитель полагал, что литературное творчество реализуется в трех главных областях: этике, лирике и драме. И в наши дни мы разделяем литературу на прозу, поэзию и драму. Философско-эстетический дискурс приводит нас к мысли, что если в прозе ведущим можно признать изобразительное начало, то в поэзии, несомненно, ведущим является начало выразительное.

Изобразительные потенции прозы предполагают доминирование отобразительного принципа (с ориентацией на действительность, как на аналог). Структурная природа драмы предполагает, наряду с изображением внесение и элементов выразительности (это связано с особой ролью действия как главного фактора построения драматического литературного произведения).

По-иному строится формирование образа в поэзии: здесь доминирует созидательное, выразительное начало. Именно в силу этого осуществляется главное предназначение поэзии – выражение обширнейшего и потайного мира многообразных человеческих чувств. «Когда угаснет ритм, – утверждал знаменитый испанский поэт Леон Филипе, – уйдут рифмы и распадутся слова, и если еще что-то останется после этого – это и есть поэзия».

Выразительное начало, доминирующее в поэзии, в наивысшей степени опирается на этнонациональную основу, на образную систему, которая вырастает на национальном субстрате. В связи с этим некоторые исследователи, например, выдающийся британский поэт Т.С. Элиот, полагают, что поэзия принципиально непереводаема на другой язык.

Действительно, в языке поэзии (а также в ритме, на котором она настроена), в мелодике стиха, как бы синтезируются элементы национального самосознания и национального характера, и с огромной (порой максимальной) силой выражается национальная ментальность.

Данный теоретический постулат наглядно может быть аргументирован практикой переводов на русский и

Литература

1. Mickiewicz, Adam. Dziady: w dwóch tomach = Міцкевіч, Адам. Дзяды: у 2-х т. / Перакладчык С. Міцкевіч. – Мінск: Медысонт [=Медысон], 1999. – Т.1. – 351 с.

2. «Філаматы і філарэты»: Зборнік. – Мінск: Белкінагазбор, 1998.

белорусский язык могучего творения Адама Мицкевича «Dziady».

Мощное эпическое начало, начало, которое заключает в себе раздумья поэта о трагическом пути своего народа, соединяет в себе энергетику, идущую от предков (дзядоў – бел.), и предчувствия, тяжких испытаний впереди выражается у Мицкевича набатными ударами колокола:

Chór

*Ciemno wszędzie, glucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie? [1, 20]*

В переводе известного советского поэта Л. Мартынова на русский язык, глубинная ритмическая основа данной смыслодержательной доминанты поэмы А. Мицкевича теряется:

*Глушь повсюду, тьма ложится,
Что-то будет, что случится?*

В переводе Я. Сипакова (1969) на белорусский язык общая структура интенции А. Мицкевича, на наш взгляд, сохраняется:

*Цемна, людзі, глуха, людзі,
Нешта будзе... Нешта будзе...*

Белорусский поэт достигает приближения к оригиналу за счет личностного понимания ментального ощущения первоисточника, его духовного наполнения.

Более современные попытки белорусских поэтов показывают попытки дихотомичного решения. С одной стороны, в контексте расширения опыта Я. Сипакова новейший перевод Сержа Минкевича следует за непосредственным ощущением звукового строя поэмы А. Мицкевича:

Хор

*Цемна, людзі, глуха, людзі,
Штосьці будзе... Штосьці будзе... [2, 21]*

С другой стороны, Кастусь Цвирка стремится к передаче содержательного философского субстрата поэмы; и в частности, его магическую устремленность в будущее.

Хор

*Глуха ўсюды, ноч, бязлюддзе.
Што тут будзе ўжо, што будзе? [3, 46]*

У С. Минкевича, как видим, больше акцентируется поэтическое, т. е. чисто литературное начало; у К. Цвирки наличествует объемно-философская трактовка великого произведения.

Но А. Мицкевич потому-то и является гением мирового уровня, что в его поэме органично сочетается, глубина философского осмысления духовной основы бытия своего народа с виртуозно завершенной поэтической формой.

И концентрат ментальности, получивший столь совершенное эстетическое выражение сохраняет в себе феномен «Ковчега завета»; яркое, таинственно-магическое творение, еще ожидающее конгениально-го его создателю, переводчика.

Г.С. Салманова
(Баку, Азербайджан)

В статье рассматриваются психолингвистические проблемы перевода, приводятся мнения таких ученых, как В. фон Гумбольдт, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба и ведется анализ в направлении, проложенном их трудами.

Термин *психолингвистика* сегодня выступает общим названием целого ряда научных направлений, так или иначе формирующихся на стыке лингвистики и психологии. Можно выделить в качестве основных три направления исследования: «Это продуцирование и восприятие речевого высказывания вместе с проблемой речевого общения и усвоения языка ребенком... Теоретические представления каждой психолингвистической школы, упрощенно говоря, складываются из психологических представлений о процессах продуцирования и восприятия речевых высказываний, о процессах речевого общения и о процессах усвоения языка ребенком и из лингвистических воззрений на устройство языка и структуру речевого высказывания» [3, 8–9].

В контексте психолингвистических исследований нас интересует речевая деятельность, процесс порождения речевых форм и значений.

Важнейшим теоретическим положением, к которому восходят, возможно, все психолингвистические теории современности, является высказывание В. Гумбольдта о том, что язык есть деятельность, а не продукт деятельности. Ученый пишет: «Язык – одно из тех явлений, которые стимулируют человеческую духовную силу к постоянной деятельности. Выражаясь другими словами, в данном случае можно говорить о стремлении воплотить идею совершенного языка в жизнь. Проследить и описать это стремление есть задача исследователя языка в ее окончательной и вместе с тем простейшей сути» [2, 52]. Гумбольдт ставит вопрос об узуальном и окказиональном в языке, отмечая, что все многообразие встречающихся в речи элементов сплачивается вокруг повторяющихся элементов, т. е. вокруг воспроизводимых единиц.

В непосредственную зависимость от физиологии мозга ставит язык И.А. Бодуэн де Куртенэ, который пишет следующее: «Мы признаем взаимную зависимость физиологической стороны мозга вместе с продолжением в ней непрерывной физической энергии, с одной стороны, и мышления вместе с языком, с другой. С одной стороны, мышление и язык зависят от мозга. Результатом обветшания мозга являются забывание и неспособность владеть языком. Фактом является также наследственность мозга и наследственность способностей, в том числе языковых. С другой стороны, очевидно, умственное развитие совершенствует мозговую субстанцию» [1, 57].

И.А. Бодуэн де Куртенэ проводит разграничение между психикой и сознанием, отмечая, что «психично не то, что является сознательным, а то, что может быть осознано как представление, понятие или группа представлений и понятий» [1, 58]. Здесь мы видим такое же представление о языковых явлениях, которое характерно для Ф. де Соссюра, утверждавшего всецело психический характер языковых явлений. В точном соответствии с соссюровскими представлениями И.А. Бодуэн де Куртенэ заявляет, что к области языка относится только то, что психично. То есть само воспроизведение звуков он не относит к языку и языковым явлениям.

Очень интересную особенность психолингвистического свойства отмечает Л.В. Щерба. Он рассуждает о разных типах обучения иностранным языкам, что имеет непосредственное отношение к авторскому переводу. Так, Л.В. Щерба пишет, что «Наблюдение показывает, что есть два вида сосуществования двух языков в инди-

виде. Оба языка образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта. Это очень частный случай у людей, выучивших иностранные языки от иностранных гувернанток, с которыми они могли говорить только на изучаемом языке с исключением всякого другого. Поэтому им никогда не представлялось случая переводить с иностранного языка на свой родной и обратно» [4, 67]. Характерно, что, даже если такие люди хорошо говорили на двух языках, им было достаточно сложно переходить с одного языка на другой. Л.В. Щерба указывает, что «Обученные этим способом люди хоть и говорят довольно бегло на обоих языках, но им всегда очень трудно найти эквивалентные термины двух языков: нужные слова приходят им на память только с трудом. Они могут объяснить, что значит та или иная фраза, то или иное слово, но всегда затрудняются его перевести. Тот же результат получается при обильном чтении без помощи словаря, он является также идеалом так называемого натурального метода преподавания языка. Этот метод не имеет никакого значения для умственного развития учеников, детей или взрослых, ибо обучение языкам имеет образовательное значение только тогда, когда оно приучает к анализу мысли посредством анализа средств выражения. А этого достигают, только изучая параллельно языки и всегда отыскивая их соответствующие элементы. Только тогда обучение языкам становится мощным орудием формирования ума, высвобождая мысль (путем сравнения языковых фактов) из оков языка и заставляя учеников замечать разнообразие средств выражения и их значения до самых тонких оттенков. Все это возможно только при применении переводческого метода. Обучаясь языку именно при помощи этого последнего метода, приходят, вероятно, самым естественным образом к такому состоянию, когда два каких-нибудь языка образуют в уме лишь одну систему ассоциаций, что составляет второй вид сосуществования языков. Любой элемент языка имеет тогда свой непосредственный эквивалент в другом языке, так что перевод не представляет никакого затруднения для говорящих» [4, 67–68].

Мы специально привели столь пространную цитату, чтобы зафиксировать внимание на отдельных моментах, указанных выдающимся лингвистом и имеющих большое значение для проблемы авторского перевода. Прежде всего психолингвистический аспект проблемы выдвигает на передний план вид двуязычия. То есть Л.В. Щерба говорит о разных типах билингвизма в связи с проблемами перевода. Очень важно для нас, что наиболее эффективный способ изучения иностранного языка, так называемый натуральный метод, ученый считает неэффективным для умственного развития учеников и для переводческих возможностей. При этом виде двуязычия билингвам очень трудно найти эквивалентные термины двух языков. Вместе с тем, видимо, необходимо уточнить некоторые понятия. Например, Л.В. Щерба говорит, что во втором случае, т. е. когда иностранный язык изучается на основе сравнения с родным, два каких-нибудь языка образуют в уме лишь одну систему ассоциаций. И далее, «любой элемент языка имеет тогда свой непосредственный эквивалент в другом языке, так что перевод не представляет никакого затруднения для говорящих». Здесь следует отметить, что, если два языка

образуют в уме лишь одну систему ассоциаций, то говорящий выбирает оптимальное языковое средство, его не волнует, на каком языке он говорит, и к какому языку относится выбранное средство. Именно так обстояло дело с билингвизмом пушкинского типа. Именно поэтому условием заимствования является двуязычная среда.

Если же образование в уме лишь одной системы ассоциаций приводит только к тому, что перевод не представляет никакого затруднения для говорящих, то получается, что в этой единой системе ассоциаций все средства двух языков обладают одинаковым статусом. Разумеется, с этим трудно согласиться. С другой стороны, видимо, Л.В. Щерба имеет в виду под эквивалентностью вообще субституцию в другом языке, в языке перевода. При этом ясно, что понятия эквивалента и субститута не совпадают, это не равнозначные понятия.

Второй тип билингвизма и его психологический статус оказывается актуальным при авторском переводе. Конечно, эта проблема непосредственно связана с переводом вообще и независимо от того, кто является переводчиком. Но в случае авторского перевода проблема претендует на решение. Если в этом случае в уме автора-переводчика существует одна система ассоциаций, способствующая тому, что любой элемент языка имеет свой непосредственный эквивалент в другом языке, то это как раз тот случай, когда перевод может оказаться адекватным оригиналу.

Отсюда можно сделать лишь один вывод. Если автор-переводчик одинаково хорошо знает оба языка, т. е. язык оригинала своего произведения и язык его перевода, то он свободно варьирует значениями и обязательно изменяет текст. Автор-переводчик изменяет его форму, структуру, но оказывается, что при этом он обязательно изменяет и содержание. Именно значения субститутов, восполняющих лакуны, все время и очень плавно меняют текст в его содержательном аспекте. Существование в сознании или в уме автора-билингва единой системы ассоциаций означает в действительности выход его сознания, его психики в область двух систем ассоциаций, которые при достаточно высокой степени усвоения ценностей обеих ассоциативных систем делают его носителем ценностей обеих систем. В этом случае в его психике, действительно, существует единая ассоциативная система, но дело в том, что синонимичные средства выражения, относящиеся к разноязычным ассоциативным системам, не являются тождественными. Именно в силу этого эквивалентность невозможна и недостижима.

Литература

1. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по общему языкознанию / И.А. Бодуэн де Куртенэ. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Том 1. – 384 с.; Том 2. – 391 с.
2. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. – М.: Радуга, 1984. – 397 с.
3. Тарасов, Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики / Е.Ф. Тарасов. – М.: Наука, 1987. – 168 с.
4. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л.: Наука, 1974. – 428 с.

УДК 81'42

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ТЕКСТА И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИСКУРСА

В.И. Сенкевич
(Siedlce, Polska)

Рассматриваются антитеза дискурсивного произведения и продукта речевой деятельности – текста. Доказывается нерелексивная сущность текста, его связь с реальностью и понятием «дело». Высказывается мысль о том, что исследование текста должно осуществляться в аспекте деятельностного подхода к языку. Названный подход и понимание созидательно-конструктивной роли языка, отличается от взгляда, видящего в языке только фиксированную форму – частный случай статических знаковых систем.

1.1 Все может быть, кроме одного, – того, что есть. Ибо, коль скоро оно есть (пробывает), то как оно может быть? Оно не может быть, т.к. есть. Его некуда деть. То, что есть и никуда не девается, называется бытием. «Бы-

На наш взгляд, удобнее и логичнее говорить о субституции, помня при этом, что и удачная субституция представляет собой большую редкость. То есть и субституцию нельзя воспринимать как закономерность перевода. Чисто терминологически можно даже разграничить формальную и содержательную субституцию. Причем субституция вообще может рассматриваться на фоне ее отсутствия. Так, хорошо известно, что нередко переводчики опускают отдельные фрагменты текста, считая по тем или иным причинам, что что-то можно и не переводить. Таким образом, субституция вовсе не всегда имеет место. Что же касается тех случаев, когда субституция имеет место, то чаще всего она является формальной. Просто знак языка оригинала заменяется знаком языка перевода. И только в случае содержательной субституции фрагмент подлинника находит выражение в фрагменте перевода. Чаще всего единица текста оригинала коррелирует с нулем в тексте перевода.

Автор-переводчик, если он обучен второму, неродному языку, не натуральным способом, а тем вторым способом, о котором говорит Л.В. Щерба, прекрасно знает эти пустоты, которые никак невозможно заполнить эквивалентными средствами. Поэтому такой переводчик постоянно конструирует новый текст, он лишь отталкивается от общего содержания текста. Содержание текста в данном случае является наиболее абстрактной категорией. Разумеется, это имеет место не всегда. В принципе, конечно, и автор-переводчик, как и посторонний переводчик, может плестись за оригиналом, стараясь подобрать более или менее точные эквиваленты в любом случае. Это никогда не удается ни переводчику своего произведения, ни переводчику произведения чужого.

Заданный смысл может облекаться в совершенно разные художественные формы, не говоря уже о формах языковых. Иными словами, одна и та же история жизни может быть рассказана совершенно по-разному. И каждый раз эта история представляется совершенно неожиданным образом. Понятно, что такое варьирование смысла вполне допустимо и на одном и том же языке, на языке оригинала. Что же касается перевода, то такое варьирование предполагается. Отличие авторского перевода от неавторского в данном случае состоит в том, что автору известен переводимый текст на всех уровнях смысла, в то время как постороннему переводчику дан только поверхностный смысл.

тие свидетельствует только о том, что *она есть*; меньше, беднее ничего нельзя сказать о предмете, как то, что он есть <...> его на самом деле уничтожить нельзя, некуда

деть: отвернуться только можно от него или не узнать его в видоизменениях» [1, 150–151].

Бытие находит воплощение в тексте. Все, не причастное бытию, отражается в дискурсе. Мир возможности противопоставляется миру вероятности. В языке более очевидна его история, археология же языка скрыта. Но именно в его археологии открываются нам «дела давно минувших дней», а история – только слово, рассказ.

1.1.1 Допускаем существование языка культуры, «обретенного в обычаях и правах» (Ф. Ницше) и выступающего в разных версиях субкультуры, и языка, выполняющего общественные функции. Благодаря первому осуществляется и становится субстанция личности («его»), второй язык служит для формирования и совершенствования человек как члена общества – Другого («alter ego»). Оба языка существуют параллельно, как *родное* («мое») и *близкое* («свое»). У первого языка есть носитель, второй предполагает пользователя [2].

Предпринятое деление исходит из двух фундаментальных для функционирования и деятельности понятий – *рефлекс* и *реакция*. Вербальное общение основано на рефлексии – отзывчивости [3]. Однако отозваться или ответить соответствующим образом не значит отреагировать. В разных ситуациях речи не имеет места вербальная рефлексия (*говорить, сказать*), а проявляется именное (в смысле «чь») реагирование. Существенным оказывается не что, кто что сказал, а как <Имярек> отреагировал.

«Химическая» реальность проявляется в межличностных контактах: *Patszę na to malenstwo – lyste, pomarszczone, o zwiotczalej skórze staruszka – i zachodzi we mnie jakaś reakcja chemiczna* (Tony Parsons, *Mężczyzna i chłopiec*). Контакт не тождествен общению; встреча не то, что свидание. Однако именно встреча напоминает «химию»: «Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie (C.G. Jung).

Рефлексия относится к миру причинности. Так, рефлексивными будут действия *видеть* и *слышать*. Эти *сущности* предполагают Другого. Увиденное должно быть показано; чтобы услышать, надо чтобы кто-то сказал. Слушает же и смотрит человек сам. Невозможно заставить слушать и смотреть, как нельзя, например, заставить думать. Слушание и смотрение не действия, но пассивные акты адекватного (или неадекватного) восприятия. На услышанное и увиденное человек отзывается. Воспринятое же слухом или зрением находит в нем отклик.

Рефлексия не принадлежит культуре. «Культура – все типы деятельности, не являющиеся рефлексорными (Альфред Луис Кребер, США, XX в.). Культура не передается (сообщается), но транслируется: *трансляция культурного опыта, процесс трансляции культуры, традиция – способ трансляции культуры* и т. п. Культура не имеет посредника, однако допускает «связующее звено» – ретранслятора.

1.1.2 Язык как форма рефлексии – важнейшее средство человеческого общения. Основное значение в этом языке имеет видение, творящее картину мира. «Свое» видение свойственно автору художественного произведения. Искусство, в том числе и искусство слова, имеет место там, где присутствует форма. Литература – авторская рефлексия.

*Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
(Н. Некрасов, *Крестьянские дети*)*

Данный отрывок представляет собой словесное произведение – рассказанный случай. Это историческое повествование [4], нарисованная картина («*На эту картину так солнце светило, Ребенок был так уморительно мал...*» Н. Некрасов). Суффикс *-жды* в слове *однажды* указывает на повторение. Все, относящееся к историческому плану, может повториться: эту картину автор поэмы мог видеть не однажды – дважды, трижды и т. д.

Отрывок из поэмы Н. Некрасова может быть использован как материал для литературоведческого анализа – рефлексии учащихся на уроках русской литературы в старших классах и уроках литературного чтения в начальных классах. Такой анализ производится посредством дискурсивной (рассудочной) речи. Основное внимание уделяется художественным образам, характеристике литературных героев.

Однако возьмем другой текст – из «дворянского фольклора»:

*Как-то вечером с женой,
возвращаясь я домой.
Фонари дорогу освещали.
Вдруг раздался голос грубый:
«Стой, ребята, снимай шубу!».
Раз, и сняли...*

Речь в нем исходит также от первого лица. Однако «Я» не является рассказчиком, а выступает в качестве фигуранта дела. Здесь не представляется картина, а свидетельствуется и разыгрывается реальная ситуация. «Однажды» заменяется на «как-то», и уже нет случая – есть э п и з о д (легенда). И когда этот инцидент произойдет еще раз, он станет прецедентом [5]. В легенде не рассказывается, что было, но предьявляется, как произошло то, что произошло. Слушателей знакомят с подробностями («фонари дорогу освещали») и обстоятельствами («как-то вечером») произошедшего; они становятся «в курсе дела».

Происшествие находится в компетенции правовой культуры. Какая-либо вербальная рефлексия (видение) и оценочное отношение к тому, что произошло, здесь неуместно. На инцидент принят пассивный р е а г и р о в а т ь, или предпринимать какие-либо акты во избежание его рецидива. Происшествие не анализируется, но рассматриваются – находится в поле зрения правоохранительных органов.

В рефлексивном «однажды» – нет дела; рассказанная история – это с л о в о, изображение действительности – словесная картина со свойственной ей художественной правдой. Однако образ не сама реальность. Правдивое и убедительное изображение действительности не придает картине реальной достоверности. Автор может быть не равнодушен к изображенному, однако картина не попадает в зону его личной ответственности. Нет необходимости свидетельствовать ее правдивость собственной подписью.

Эпизод «как-то раз» – д е л о, обладающее юридической перспективой. Здесь не стоит вопрос о правде, однако ставится вопрос о достоверности: на самом ли деле? Представленному фрагменту действительности автором произвольно дается название – «Мужичок с ноготок»; произошедший же инцидент не допускает произвольности, подвергается категоризации. «Грабёж» – заголовок статьи в уголовном кодексе.

Категория «Грабёж» нарицательна. Она типизирует ситуацию. Наречение – институциональный акт, придающий реальности правовой статус. Институциональный ярлык навешивается на ситуацию как

итог ее правовой экспертизы. Однако экспертиза – не анализ. Название рассказа не «диагноз», а результат рефлексии над содержанием произведения.

Текст подписывается именем потерпевшего, и в этом смысле он воспринимается как именной. Однако потерпевшего нельзя назвать автором написанного, т.к. только у произведения может быть автор. Когда кого-нибудь ограбили и для проведения следственных мероприятий необходимо описать произошедшее, то подобная дескриптивизация не производится, но о с у щ е с т в л я е т с я потерпевшим.

Порожденный текст в фигуральном смысле есть «детище» его креативного создателя. Как абсурдно называть автором ребенка его отца, так и неуместно приписывать чье-либо авторство тексту. По идее, тексты должны находиться в преемственной связи между собой. Собственно текстом, как бы это ни противоречило существующей традиции, выступает только именной (в смысле «чей») продукт речи, а не авторское вербальное произведение.

Как в произведении не может не присутствовать образ автора, так и осуществленный (продуцированный) текст не обходится без следа того, кто его породил – фигуранта дела. По сути, сам текст и есть в о п л о щ е н и е способа адекватного (или неадекватного) восприятия реальности и формулирование точки зрения его создателя. У текстов нет авторов; они выходят под собственными или нарицательными именами их создателей: *свидетель, законодатель, выгодоприобретатель, ученый, публицист* и т. п.

1.1.3 Вербальный дискурс основной целью и практическим заданием имеет согласие. Знаками согласия являются слова-предложения «да» и «нет». «Да будет слово ваше: «да, да» или «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Матвеев 5,37). Дискурс строится по базарному принципу «купи-продай». «*За что купил, за то и продаю*», – характеристика вербального действия; ср. в уголовной субкультуре: *базарить; Фильтруй базар! Следи за базаром! За базар ответишь!* и т. п. «Где кончается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов, и жужжание ядовитых мух. <...> лишь на базаре нападают с вопросом: *да* или *нет*?» (Ф. Ницше, *Так говорил Заратустра*).

На рынке каждый приравнивается к так называемой рыночной цене, стараясь купить не дороже, а продать не дешевле этой цены. Но в тоже время известно, что это цена складывается из соотношения спроса и предложения, в которых участвует каждый посетитель рынка. Приравниваясь к объективной стоимости, он в тоже время всяким актом купли-продажи и даже простым подходом к этому акту

субъективно творит эту самую «стоимость». Совершенно так же и в языке. Все мы, чтобы нас понимали, обязаны равняться в нашей языковой деятельности по окружающим, должны говорить, как в с е. Как нет на рынке ни одного покупателя и ни одного продавца, которые бы не участвовали в создании рыночной цены, так нет в языке ни одного говорящего, который бы не участвовал в создании самого языка [6].

Добиться согласия не значит достигнуть понимания (найти консенсус). В понятийном языке, по идее, не должно быть слов правды – «да» и «нет». «Свое» понимание есть альтернатива пониманию. Понимание бывает «мое» или «его», «их» или «наше». Языку восприятия противопоставляется его альтернатива – язык отражения. Альтернативой категории является концепт, ср.: *единое – общее, решение – выбор, любовь – дружба, братство – общество* и т. д. На смену реальности как процессу, взятому самому по себе, приходит предметная действительность как таковая. В этой действительности нет места архетипу личности – самости. Так, в анонимной белорусской поэме «Тарас на Парнасе» подмечается «нетаковость» (самость) именитых людей из мира русской культуры. Им противопоставит «такой народ».

*Народ то быў усё не такоўскі:
Сам Пушкін, Лермантаў, Жукоўскі
І Гоголь шпарка каля нас
Прайшлі, як павы, на Парнас.*

Деятельностный подход к языку и понимание его созидательно-конструктивной роли, отличается от взгляда на язык, видящего в нем фиксированную форму как частный случай статических знаковых систем. Теория энергетического понимания языка во главу угла ставит не концепт формы, имеющей гносеологические характеристики, а категорию субстанции, обладающую ролевыми и статусными онтологическими параметрами. Г. Гадамер рассматривает язык как мировосприятие – инстинктивное мироощущение и институциональное мировоззрение. Говорить на языке означает находиться в нем: языком нельзя просто пользоваться, можно либо быть в его среде, либо не быть там [7].

Язык как дом бытия – «мой» язык его носителю; язык, в котором присутствуют только общие места – «свой» язык для его пользователей. В рефлексивном языке пользователи озабочены двумя пошлыми (т.к. «истари пошли») вопросами: «*Что делать?*» и «*Кто виноват?*». Носители понятийного языка культуры озадачены собственной идентичностью и самобытностью Пути: «*Кто мы?*» и «*Куда идем?*».

Литература и примечания

1. Герцен, А.И. Избранные философские произведения / А.А. Герцен. – Ленинград, 1948, – С. 150–151.
2. Эти языки допускают разные названия: *язык понятийный и концептуальный, язык культуры и цивилизации, язык номинативный и функциональный, язык общения и язык контакта, язык формы и язык субстанции*.
3. В физике *рефлексия* – отражение света на поверхности предмета. В переносном значении отражение – это отзвук каких-л. чувственных воздействий, образ, воспроизведение, анализ. Высшая форма отражения – сознание.
4. Э. Бенвенист называет историческое повествование *дискурсом*. «События здесь изложены так, как они происходили по мере появления на исторической арене. Никто ни о чем не говорит, кажется, что события рассказывают о себе сами» (См.: Бенвенист, Э. *Общая лингвистика* / Э. Бенвенист. – М., 2002. – С. 276.).
5. Прецедентность не имеет отношения к повторению: «*еще раз*» – не значит «*повторить*». В реальности, как известно, «раз на раз не приходится».
6. Пешковский, А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык / А.М. Пешковский // Пешковский, А.М. Избранные труды / А.М. Пешковский. – М., 1959. – С. 50–62.
7. Борковский, П. Феномены понимания. Контуры современной герменевтической философии / П. Борковский. – Минск, 2008, – С. 251.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ МЕНТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ В ЯЗЫКЕ: НА МАТЕРИАЛЕ ВТОРИЧНЫХ НОМИНАЦИЙ

В.Д. Стариченок
(Минск, Беларусь)

В работе на материале вторичных номинаций рассматриваются вторичные ментальные лексико-семантические варианты (ЛСВ), в которых выражаются умственные и интеллектуально-логические способности, духовные, чувственные и волевые качества и оценки человека. В качестве основных источников мотивации, послуживших для образования ментальных ЛСВ, выступают компоненты практически всех лексико-грамматических разрядов слов. С учетом характера соотношения исходного и производного ЛСВ устанавливаются основные закономерности и направления смыслового развития Вторичных номинаций, которые в определенной степени обусловлены семантикой первичных ЛСВ и укладываются в те или иные сценарии семантической деривации.

В современной гуманитарной науке ментальность чаще всего рассматривается как образ мышления, склад ума, мировосприятие, общая духовная настроенность человека (группы), глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания. В философских, культурологических, психологических, лингвистических справочниках указывается, что ментальность является внутренним интеллектуальным миром индивида, относительно устойчивой и целостной совокупностью умственных и социально-психологических навыков, духовных установок, воззрений, верований, присущих отдельному человеку или общественной группе.

Одним из проявлений ментальности является язык, в котором отражаются духовные, чувственные и волевые качества национального характера, интеллектуальная жизнь как отдельного человека, так и определенного этноязыкового сообщества [4, 11–13], [5, 80]. Язык как репрезентант ментальности является и универсальным средством хранения, формирования и представления знания разного уровня, выступает объектом анализа при изучении менталитета, в известной степени определяет способ членения действительности.

Вопросы взаимодействия языковых и ментальных структур активно разрабатываются в многочисленных исследованиях по когнитивной лингвистике, семантике, концептологии (работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.Г. Гака, В.В. Колесова, Т.В. Булыгиной, И.М. Кобозевой, М.В. Пименовой, Г.И. Кустовой и др.). Языковая репрезентация когнитивных структур представляет собой многоуровневую и многокомпонентную структуру. Основными языковыми средствами, позволяющими эксплицитно выразить ментальность, являются аксиологические лексические единицы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, свободные словосочетания прецедентные тексты и др. Совокупность слов, выражений, понятий и концептов, которые относятся к мышлению, некоторые ученые называют «ментальным языком», или «языком мысли», и истолковывают его как «метаязык, на котором задаются единицы концептуальной системы и/или описываются ментальные репрезентации для значения естественных языковых выражений» [3, 99].

В корпус слов, репрезентирующих семантическое поле «ментальность», включаются глаголы, прилагательные и существительные, в которых эксплицитно присутствуют семантические компоненты ментальности. В структуру «ментального языкового пространства» также включаются вторичные номинации, образованные от первичных ЛСВ лексических единиц, составляющих ядро других (нементальных) семантических полей. В этом случае лексика относительно простых (базовых) представлений и физических понятий используется для

описания более сложных, абстрагированных элементов интеллекта, мышления и сознания человека [2, 37]. Реальная практическая деятельность человека, таким образом, отражается в сознании и закрепляется в языке, преобразуясь во внутреннюю отраженную модель мира [1, 34] и формируя единую иерархически организованную систему, где более простые метафорические и метонимические концепты служат основанием для образования более сложных концептуальных структур.

Вторичные номинации в своем большинстве образуются на базе исходных значений существующих в языке слов, которые определенным образом трансформируются и соотносятся с новыми фрагменты реальности. Они составляют периферию семантического поля ментальности и выявляются в смысловых структурах глагольных и именных лексических единиц.

В метафорическое поле ментальных процессов, как правило, включаются глаголы с исходным значением восприятия, движения, конкретных физических действий, физиологических процессов и состояний: *доходить* 'размышляя, достигать понимания чего-л., додумываться', *проскальзывать* 'быстро появляться, проходить (в сознании, в мыслях)', *разбегаться* 'утрачивать направленность на что-л., сосредоточенность на чем-л. (о мыслях)', *видеть* 'мысленно представлять, воображать', *уловить* 'понять, постичь что-л. в чьих-л. словах, разговоре и т.п. (какую-л. мысль, смысл чего-л. и т.п.)', *рубить* 'понимать, разбираться в чем-л.', *взвешивать* 'всесторонне обдумывать, оценивать', *раскусить* 'понять, хорошо узнать', *поймать* 'воспринять, постичь рассудком, слухом, зрением'.

Различные аспекты категории ментальности часто выражаются вторичными номинациями, образованными от исходных ЛСВ наименований животных. Человек, который отождествлялся или сравнивался с животными, наделялся определенными характеристиками поведения, умственных способностей, которые приняты в данном социуме в качестве оценочных образцов-эталонов. Как правило, подобные ассоциации носят ярко пейоративный характер с указанием таких качеств, как 'глупость', 'бестолковость'. Эти качества явно преобладают в группе ментальных номинаций, что подтверждает известный тезис об асимметрии языковой оценки и более детальной и дифференцированной репрезентации негативных оценок и эмоций, чем позитивных, которые чаще всего воспринимаются как норма и не нуждаются в детализации.

В структуре зооморфизмов признак ограниченной ментальности, глупости, умственной отсталости часто сочетается с другими пейоративными характеристиками типа 'упрямство', 'высокомерие', 'ротозейство': *баран*, *осел*, *ишак* 'глупый, тупой, упрямый человек', *тетерев*, *тетеря* 'глупый или незадачливый человек', *индюк* 'глупый, заносчивый, надменный человек', *гусак* 'глупый, высокомерный человек'. При общей пейоративной коннотации с указанием неуклюжести и

полной, тучной фигуры в структуре полисеманта *корова* указывается ментальный признак: 'толстая неуклюжая, а также неумная женщина'. Вторичные ЛСВ полисеманта *ворона* указывают на непонятливость, несмышленность, рассеянность, невнимательность человека

Широкую сеть вторичных номинаций традиционно представляют названия артефактов. Вторичные пейоративные ЛСВ отмечаются у рус. *чурбан* 'обрубок дерева, бревна; о бестолковом, глупом человеке', *болван* 'грубо отесанный обрубок дерева, чурбан; о бестолковом, глупом человеке', *балда* 'тяжелый молот; бестолковый, глупый человек'. Часто качества и характеристики человека носят синкретический характер в силу дополнительных отсылок на сопутствующие признаки, связанные с высоким ростом человека: *дубина* 'толстая тяжелая палка; о высоком, долговязом человеке; о бестолковом тупом человеке', *орясина* 'большая палка, дубина, жердь; человек очень высокого роста, обычно глупый, бестолковый'.

Глупость человека в ряде случаев связывают с неспособностью хорошо говорить, косноязычием, болтовней, ненужным многословием, что нашло отражение в структуре полисемантов *балаболка* 'украшение; подвеска, висюлька; болтун; пустой человек', *трещотка* 'устройство, с помощью которого производится треск, стук, шум; любитель (любительница) поговорить, болтун (болтуня)', *трепло* 'трепалка; болтун, пустозвон, трепач'.

Репрезентация таких качеств, как изменчивость, непостоянство, резкая смена взглядов, отсутствие собственных убеждений, наблюдается у русских полисемантов *флюгер* 'человек, часто меняющий свои взгляды, убеждения', *вертушка* 'легкомысленный, непостоянный, ветреный человек (преимущественно о женщине)', *марионетка* 'человек, слепо действующий по воле других', *пустышка* 'пустой, легкомысленный человек'. Для номинации глупого человека используется «обувная» метафора: *лапоть* 'о невежественном, отсталом человеке', *сапог* 'о сером, некультурном человеке, о человеке невежественном, ничего не понимающем в чем-либо'.

В качестве истоков вторичных анимистических ЛСВ могут выступать фитонимические номинации. Классическим примером этого служит субстантив *дуб*, являющийся в языковой картине не только символом крепости, мощи, но и тупости, глупости: *дуб* 'крупное лиственное дерево; о нечутком, тупом человеке'. Фитонимический код используется при образовании вторичного ЛСВ у русского субстантива *лопух* 'травянистое сорное растение; простоватый, несообразительный человек'.

Отдельные названия пищи используются для характеристики слабовольного, нерешительного человека: *кисель* 'студенистое кушанье, сваренное из ягодного или фруктового сока или молока; вялый, слабый человек', *размазня* 'жидкая каша; вялый,

нерешительный человек'. Такие качества, как безвольность, беспомощность, глупость, фиксируются в структуре вторичного ЛСВ *телятина* 'мясо теленка как пища; глупый или безвольный, беспомощный человек'.

В качестве источников мотивации ментальных номинаций выступают первичные ЛСВ параметрических, температурных, густаторных, колоративных, люминальных, звуковых и других адективов, которые в процессе метафоризации и метонимизации актуализируют самые различные признаки широкой ментальной парадигмы: *большой ум, глубокая мысль, широкая образованность, узкое мирозерцание, низкий уровень знаний, тонкий юмор; светлая голова, черные мысли, ясное доказательство, яркое дарование; горячий спор, холодный темперамент, прохладные отношения; редкие способности, жидкий доклад, твердое решение; кислый вид, кислая гримаса; тяжелый взгляд, легкий характер, веский довод*.

В местоименных ментальных конструкциях личное местоимение «я» чаще всего отождествляется с наименованиями лиц, вторичные значения которых указывают на умственные способности (как правило, пейоративного содержания): *Была я дура и есть дура (В. Гроссман); Дура я, самая что ни на есть (И. Ефремов); Я – безумец, я гадок, Я – эгоист бессердечный и злой, Делай что хочешь со мной (Н. Некрасов); Я глупец, дитя, И против ваших слов ответа не имею (М. Лермонтов); Я им как жосу не глуп – я думаю не так; Меня с весенних лет Фортуна невзлюбила: Я ей не нравлюсь – я дурак... (В. Филлимонов); А я, глупец, мечтал, что я один любил, Что я один страдал так страстно и глубоко (С. Надсон); Я есть негодяй, хулиган (Е. Попов)*.

Таким образом, в ментальное пространство вторичных номинаций включаются переносные ЛСВ различных лексико-грамматических разрядов слов и тематических групп, которые употребляются для выражения интеллектуальных навыков, глубинного уровня сознания, духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. В качестве основного источника мотивации ментальных наименований выступают первичные ЛСВ субстантивов (зооморфизмы, артефакты, фитонимы), адективов (параметрические, колоративные, люминальные, температурные, консистентные, густаторные, весовые номинации), а также глаголов и местоимений, которые характеризуются способностью переноситься на непрототипические объекты и концептуализироваться в различного рода ментальных модулах. Все они включаются в общую модель семантического преобразования, идущей по линии от конкретного чувственно воспринимаемого признака к абстрактному ментальному признаку нефизических и нематериальных сущностей и тем самым демонстрируют принцип антропоцентризма в языке.

Литература

1. Алиференко, Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры / Н.Ф. Алиференко. – М.: Academia, 2002. – 230 с.
2. Дебердеева, Е.Е. Концептуальная метафора как средство раскрытия механизмов понимания в русской и английской лингвокультурах / Е. Е. Дебердеева // Разноуровневые черты языковых и речевых явлений. – Пятигорск, 2010. – Вып. XX. – С. 36–40.
3. Демьянков, В.З. Ментальный язык / В.З. Демьянко // Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1996. – С. 99–101.
4. Колесов, В.В. Русская ментальность в языке и тексте / В.В. Колесов. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. – 624 с.
5. Пименова, М.В. Семантика языковой ментальности и импликации / М.В. Пименова // Филологические науки. – 1999. – № 4. – С. 80–86.